

БЕСТСЕЛЛЕР NEW YORK TIMES



## ЖЕНА НЕМЕЦКОГО ОФИЦЕРА

ЭДИТ ХАН БЕР  
СЮЗАН ДВОРКИН

*Как одна еврейская девушка  
пережила Холокост*



**Эдит Хан Беер**  
**Сюзан Дворкин**  
**Жена немецкого офицера**  
**Серия «История де-факто»**

*Текст предоставлен издательством*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=17962316](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17962316)*

*Эдит Хан Беер; Сюзан Дворкин. Жена немецкого офицера:*

*АСТ; Москва; 2016*

*ISBN 978-5-17-095453-7*

### **Аннотация**

Гестапо отправило Эдит Хан, образованную венскую девушку, в гетто, а потом и превратило в рабыню трудового лагеря. Вернувшись домой, она поняла, что ее ждет преследование, и решила скрываться. Благодаря подружке-христианке Эдит поселилась в Мюнхене под именем Греты Деннер. Там в нее влюбился член нацистской партии Вернер Феттер. Несмотря на то, что Эдит упорно отказывалась и даже призналась, что она еврейка, Вернер решил на ней жениться и сохранил ее настоящее имя в тайне.

Несмотря на опасность для жизни, Эдит удалось собрать письменные свидетельства эпохи, часть из которых вы найдете в этой книге. Она сохранила сотни

документов – даже фотографии, сделанные в трудовых лагерях. Сейчас это собрание хранится в Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне и вместе с рассказом Эдит дарит нам новую главу истории Катастрофы – да, печальную, даже невыносимо грустную, и все-таки с хорошим концом.

# Содержание

Пролог	6
Тихий голос из прошлого	8
Венская семья Хан	23
Хорошая девочка Пепи Розенфельда	38
В западне	68
Остербургская плантация спаржи	99
Конец ознакомительного фрагмента.	100

# Эдит Хан Беер; Сюзан Дворкин Жена немецкого офицера

Edith H. Beer, Susan Dworkin: THE NAZI OFFICER'S  
WIFE: HOW ONE JEWISH WOMAN SURVIVED

Печатается с разрешения издательства  
HarperCollins Publishers, William Morrow Paperbacks.

© Edith H. Beer, Susan Dworkin

© Мария Кузнецова, перевод

© ООО «Издательство АСТ»

\* \* \*

*В память о моей матери,  
Клотильде Хан*

# Пролог

История, которую вам предстоит прочесть, замалчивалась мною сознательно. Как и большинство людей, переживших ужасные трагедии, я никому не рассказывала о том, как, сбежав от гестапо, жила «подлодкой», скрываясь в нацистской Германии под чужим именем. Я старалась забыть прошлое и не мучить новые поколения своими грустными воспоминаниями. Наконец раскрыть правду, рассказать ее миру, оставить письменное свидетельство меня убедила Ангела, моя дочь.

В 1997-м я решила продать свой архив фотографий, писем и документов военного времени на аукционе и обратилась в аукционный дом «Сотбис». Мое собрание приобрели два лондонских друга, любители истории и филантропы – Дрю Льюис и Дальк Фейт. Они приняли решение передать архив в Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне, США. Там он сейчас и находится. Я невероятно благодарна им за щедрость и ответственность. Архивные документы помогли мне многое вспомнить. Также я глубоко благодарна своему соавтору, Сьюзен Дворкин: выразить свои воспоминания без ее сочувствия и понимания мне бы не удалось.

Выражаю благодарность Нине Саспортас из Кельна, чей исследовательский пыл помог нам значительно улучшить и воссоздать возникшие передо мной сцены, и Элизабет ЛеВангиа Аппенбринк из Нью-Йорка, которая перевела все письма и документы на прекрасный, ясный английский. Большое спасибо Николасу Коларцу, Роберту Левине и Сюзанне Браун Левине, нашему редактору Колину Дикерманну и его коллеге Карен Мерфи, а также нашему издателю Робу Вайсбаху: все эти добрые друзья и прекрасные критики вложили в книгу свой дух, энергию и мудрость.

И наконец, эта книга появилась только благодаря Ангеле Шлютер, моей дочери. Это ее любовь, ее расспросы, ее желание знать, ее интерес к загадкам прошлого побудили меня наконец рассказать свою историю.

*Эдит Хан Беер,  
Нетания, Израиль*

# Тихий голос из прошлого

В какой-то момент лук исчез. Другие медсестры Красного Креста, с которыми я работала в *Stdtische Krankenhaus*, городской больнице Бранденбурга, говорили, что из лука фюрер производит ядовитый газ, необходимый для победы над врагами. Если честно, я уверена, что к тому моменту – стоял май 1943 года – многие граждане Третьего Рейха ради лука готовы были отказаться от удовольствия знать, что врагов потчуют газом.

Я работала в палате, где лежали иностранные рабочие и военнопленные. Я готовила для них чай и развозила его по койкам на специальной небольшой тележке, каждому улыбаясь и каждого подбадривая приветливым «*Guten Tag*».

Придя однажды на кухню мыть чашки, я застала одну из старших сестер за резкой лука. Кажется, ее звали Хильде. Хильде была из Гамбурга и замужем за офицером. Она сказала, что режет лук себе на обед, и пристально посмотрела мне в лицо, пытаясь понять, догадываюсь ли я, что она лжет.

А я улыбнулась своей глупой улыбкой, посмотрела на нее своими пустыми глазами и занялась посудой, как будто не знала, что лук, купленный на черном рын-



ке, Хильде режет для смертельно раненного русского. Ему оставались считанные дни, и он мечтал вновь попробовать лук. Что покупка лука, что подобная дружба с русским легко могли стоить Хильде свободы.

Как и все немцы, нарушавшие гитлеровские постановления, Хильде из Гамбурга была исключительным явлением. Куда чаще работницы нашей больницы забирали продукты, предназначенные для иностранцев, и съедали их сами или относили в семью. Вы должны понимать, что эти медсестры не имели образования или воспитания, которое превратило бы для них уход за больными в святой долг. Многие из них выросли на фермах Восточной Пруссии. Они знали, что их удел – до самой смерти гнуть спину в полях и амбарах, а работа медсестры позволила им от этого удела сбежать. Вскормленные нацистской пропагандой, они искренне считали, что как «арийки» относятся к некой высшей расе, а русские, французы, голландцы, бельгийцы и поляки, попадавшие в нашу клинику, рождены, чтобы трудиться на благо нордической нации. Конечно, для них кража тарелки супа у низших созданий была не грехом, а совершенно оправданным решением.

Думаю, в то время в Бранденбурге находилось больше десяти тысяч пленных рабочих. Они работали на автомобильной фабрике Опель, на авиацион-

ном заводе Арадо и на других производствах. Почти все наши пациенты были жертвами несчастных случаев. Помогая строить немецкую экономику, они калечили руки в прессах, обжигались о раскаленные печи и обливались едкими веществами. Все они были беспомощными рабами. Их увозили от жен и детей, и они мечтали вернуться домой. Я боялась смотреть им в глаза, потому что в них я увидела бы себя, свой собственный страх и свое собственное одиночество.

Больница размещалась в нескольких зданиях, и все они были разделены по функциям. Мы, медсестры, ели в одном строении, стирали в другом. Пациенты, нуждающиеся в ортопедическом лечении, размещались в одном месте, а инфекционные больные в другом. Иностранные граждане, вне зависимости от того, что с ними случилось, всегда находились отдельно от немцев. Мы слышали, что однажды целое здание выделили для размещения иностранцев, заболевших тифом. Эта болезнь распространяется с зараженной водой. Мы, простые девушки, не в силах были понять, как они подцепили тиф здесь, в Бранденбурге, прекрасном старом городе, всегда вдохновлявшем творцов, в городе, где вода была чистой, а еда подвергалась строгим правительственным проверкам. Многие решили, что иностранцы были сами виноваты, что дело было в их нелюбви к гигиене. Эти

медсестры сумели убедить себя, что болезнь возникла не из-за невыносимых условий, в которых эти люди вынуждены были существовать.

Сама я была не медсестрой, а скорее помощницей медсестры: я занималась только черной и самой простой работой. Я кормила тех, кто не мог есть сам, протирала тумбочки, отмывала судна. В первый же день работы я помыла двадцать семь суден – в обычной раковине, словно посуду после ужина. Еще я мыла резиновые перчатки. То были не сегодняшние одноразовые тоненькие белые перчаточки. Наши были тяжелые, толстые, рассчитанные на многократное использование. Их внутреннюю поверхность нужно было припудривать. Иногда я готовила черную мазь, наносила ее на бинты и делала компрессы, способные облегчить ревматические боли. Собственно, все. Ничего более сложного я делать не имела права.

Однажды меня попросили помочь с процедурой переливания крови. Сестры выкачивали кровь у пациента в особую емкость, а затем переливали ее в вены другого больного. Я должна была помешивать кровь, чтобы она не свернулась. Мне стало дурно, и я убежала из комнаты. «Ну, Грета – всего лишь глупая необразованная девчонка из Вены, считай, уборщица, – сказали они. – Что с нее возьмешь? Пусть себе кормит иностранцев, которым оторвало пальцы».

Я молилась, чтобы в мою смену никто не умер. Видимо, молитвы были услышаны, потому что пациенты всегда дожидались моего ухода и умирали уже потом.

Я старалась их поддерживать. Чтобы унять тоску французов по дому, я говорила с ними по-французски. Похоже, я улыбалась слишком приветливо, потому что однажды старшая медсестра сказала, что я чересчур добра к иностранцам. В связи с этим меня перевели в родильное отделение.

Понимаете, тогда ведь повсюду были доносчики. Именно поэтому Хильде, нарезавшая запрещенный лук для русского пациента, так испугалась даже меня, Маргарете, сокращенно Греты. Даже меня, приехавшей из Австрии необразованной двадцатилетней помощницы медсестры. Заподозрить в работе на Гестапо или СС могли кого угодно, даже меня.

В начале осени 1943 года, почти сразу после моего перевода в новое отделение, скорая помощь прямиком из Берлина привезла к нам важного промышленника. С ним случился апоплексический удар. В таком состоянии человеку требуется покой, тишина и постоянный уход. С января Берлин постоянно бомбили, так что друзья и родственники пострадавшего решили, что восстановление пройдет быстрее у нас в Бранденбурге: бомбежек не было, работники больницы не сталкивались день ото дня с чрезвычайными

происшествиями и могли посвятить ему достаточно времени. Ухаживать за этим человеком назначили меня – видимо, потому что я была самой младшей и почти ничего не умела. Во мне не слишком нуждались.

Работа была не самая приятная. Моего частично парализованного пациента приходилось водить в туалет, кормить, постоянно обмывать и переворачивать. Кроме того, его бессильное, мягкое тело нуждалось в массаже.

Вернеру, моему жениху, я об этом пациенте почти ничего не рассказывала: я боялась, что в Вернере проснутся амбиции, и он захочет воспользоваться моей близостью к такому важному человеку. Вернер везде высматривал новые возможности. По собственному опыту он хорошо знал, что в Рейхе люди поднимаются не благодаря талантам и уму, а исключительно через высокопоставленных друзей и родственников. Вернер был талантливый, вдохновенный художником. До прихода нацистов к власти он, со всеми своими талантами, был нищ и бездомен. Он спал в лесу, под открытым небом. Но для него настали лучшие времена. Вступив в нацистскую партию, Вернер стал руководителем малярного цеха на авиазаводе Арадо. Под его началом работало множество иностранцев. Очень скоро он должен был стать офицером вермахта и моим преданным мужем. Но он не расслаблялся

– о нет, только не Вернер. Он всегда искал что-нибудь еще, какой-нибудь незамеченный путь наверх, туда, где он наконец получил бы все, что, по его мнению, ему полагалось. Вернер был беспокойным, импульсивным, амбициозным человеком. Расскажи я ему о моем важном пациенте, он бы тут же начал строить на него планы. Поэтому я сообщила ему ровно столько, сколько было необходимо, и ни словом больше.

Когда моему пациенту пришел букет цветов лично от Альберта Шпеера, рейхсминистра вооружений и военного производства, я поняла, почему другие сестры были так рады отказаться от ухода за этим больным. Работать с высокопоставленными членами партии было слишком опасно. Любой недочет – упавшее судно, разлитый стакан воды – мог подставить тебя под удар. А что, если я слишком быстро его переворачивала, слишком неаккуратно мыла, кормила его слишком горячим, слишком холодным или слишком соленым супом? А что, Господи боже мой, если у него будет новый удар? Что, если он умрет, когда я за него отвечаю?

Трясаясь от ужаса при одной мысли о том, сколько всего можно сделать не так, как надо, я изо всех сил старалась не допустить ни одной ошибки. Естественно, промышленник был мной крайне доволен.

«Вы прекрасно работаете, сестра Маргарете, – ска-

зал он мне однажды во время купания, – похоже, несмотря на юность, вы успели обзавестись незаурядным опытом».

«О нет, сэр, – ответила я очень тихо, – я только что закончила курсы. Я просто делаю то, чему меня научили».

«И вы никогда раньше не имели дела с последствиями апоплексии...»

«Нет, сэр».

«Удивительно».

С каждым днем он все лучше двигался и все четче разговаривал. Вероятно, быстрое восстановление очень его радовало, поскольку он почти всегда находился в прекрасном настроении.

«Скажите, сестра Маргарете, – поинтересовался он во время массажа стоп, – что жители Брандербурга думают о войне?»

«О, я понятия не имею, сэр».

«Но ведь какие-то разговоры вы наверняка слышали... Мне интересно, что думают люди. Что говорят о норме мяса?»

«Она весьма щедра».

«Что говорят о новостях из Италии?»

Могла ли я признаться, что знаю о высадке солдат Коалиции? Должна ли я об этом знать? Могла ли я об этом *не* знать? «Все уверены, что англичане вскоре

будут повержены, сэр».

«Может, вы знаете кого-нибудь, чей жених сражается на Восточном фронте? О чем пишут солдаты?»

«Солдаты совсем не пишут о битвах, сэр, они не хотят, чтобы мы беспокоились, а еще они боятся написать какую-нибудь важную информацию, ведь почту могут перехватить враги. Тогда все их товарищи будут в опасности».

«Вы слышали рассказы о каннибализме русских? Как они поедают своих детей?»

«Да, сэр».

«Вы в это верите?»

Я решила рискнуть. «Многие верят, сэр. Но мне кажется, что, если бы русские ели своих детей, русских было бы гораздо меньше, чем сейчас».

Он рассмеялся. В глазах этого вежливого человека светился ум и юмор. Он даже напомнил мне моего дедушку, о котором я когда-то давно заботилась после апоплексии... Очень давно, в прошлой жизни. Я немного расслабилась и вела себя уже не так осторожно.

«Как вы думаете, сестра, чем фюрер мог бы порадовать своих граждан? Как вы считаете?»

«Мой жених говорит, что фюрер любит Германию как свою жену, и именно поэтому он не женат, и что он готов на все, чтобы граждане Германии были счаст-



ливы. Если вы можете с ним поговорить, сэр, скажите фюреру, что мы были бы счастливы, если бы нам прислали немного лука».

Это очень его повеселило. «Вы прекрасное лекарство, Маргарете. Вы прямая и добрая девушка, образец немецкой женственности. Скажите, ваш жених сейчас на фронте?»

«Пока нет, сэр. Он многое умеет и сейчас готовит для Люфтваффе новые самолеты».

«О, замечательно, – одобрил он, – мои сыновья тоже отличные молодые люди, они хорошо себя проявили». Он показал мне фото своих высоких, красивых сыновей в униформе и гордо рассказал, что они стали важными людьми в нацистской партии.

«Легко быть кардиналом, – сказала я, – когда твой кузен – Папа римский».

Он прекратил хвастаться и пристально на меня посмотрел. «А вы не такая уж простая девушка, – сказал он, – вы весьма умная женщина. Где вы учились?»

Я вся напряглась. Во рту пересохло.

«Так говорила моя бабушка, – объяснила я, перевернув его, чтобы обмыть спину, – просто семейная поговорка».

«Когда придет пора возвращаться в Берлин, я хочу, чтобы вы поехали со мной как моя личная медсестра. Я договорюсь с вашим начальством».

«Сэр, о, я была бы счастлива отправиться с вами, но я совсем скоро выхожу замуж, понимаете, я просто не могу уехать из Бранденбурга, это невозможно! Но спасибо вам, сэр! Большое спасибо! Какая честь! Какая честь для меня!»

Моя смена кончилась. Я пожелала ему спокойной ночи и, пошатываясь, вышла из палаты. Я была вся в поту. Медсестре, которая пришла меня заменить, я сказала, что вспотела, поднимая тяжелые конечности пациента. На самом деле я чуть не выдала себя. Самое небольшое проявление воспитанного ума – знание литературы или истории в объеме, недоступном обычной австрийке – могло выдать меня столь же верно, как обрезание у мужчин.

По пути домой, в восточную часть города, где мы с Вернером жили в комплексе для сотрудников Арадо, я в миллиардный раз повторяла себе, что нужно быть осторожной, что я должна прятать свой интеллект, что нужно молчать и казаться глупой.

В октябре 1943-го другие медсестры Красного креста доверили мне большую честь. Городские власти Бранденбурга запланировали митинг, и каждая группа рабочих должна была прислать представителя. Так или иначе, ни одна из старших сестер прийти не могла. Я думаю, что они просто не хотели посещать это

празднование, потому что знали, что войскам Германии в России, Северной Африке и Италии приходится тяжело (как они это узнали, я даже представить не могу: по немецкому радио об этом не сообщали, а слушать «Говорит Москва», «Би-Би-Си», «Голос Америки» и швейцарское Беромюнстер было строжайше запрещено). Мне доверили представлять на митинге нашу группу. Вернер был очень горд. Так и вижу, как он хвастался коллегам на заводе Арадо: «Ну естественно, они выбрали мою Грету! Она настоящая патриотка своей Родины!» У моего Вернера было хорошее чувство юмора, он отлично умел подмечать иронию происходящего.

К митингу я готовилась очень тщательно. Надев униформу Красного креста, я убрала свои каштановые волосы в простую естественную прическу без заколок, завивки или помады. На мне не было ни макияжа, ни украшений, если не считать тоненького золотого кольца с крошечным бриллиантом, которое отец подарил мне на шестнадцатилетие. Я была невысокой, чуть выше 150 см, и фигура у меня в те времена была красивая. Я старательно ее скрывала под мешковатыми белыми чулками и бесформенным передником. Я не хотела выглядеть привлекательно. Аккуратно, чисто – да. Но обязательно просто. Выделяться было нельзя.

Этот митинг очень отличался от того, к чему мы все давно успели привыкнуть. Не было ни оглушительного барабанного боя, ни шумных маршей, ни развевающихся флагов в руках красивой молодежи в униформе. На этот раз митинг был подчинен определенной цели, а именно подавить пораженческие настроения, охватившие Германию после зимнего фиаско под Сталинградом. В августе Генрих Гиммлер был назначен рейхсминистром внутренних дел с требованием «Вернуть веру немцев в Победу!». Мы слушали одно выступление за другим. Нас убеждали бросить все силы в работу, чтобы поддержать храбрецов на фронте, ведь если мы проиграем войну, то нас снова настигнет донацистская нищета, которую многие прекрасно помнили, и работы больше не будет. Если же нам надоело наше вечернее *Eintopf*, скудное блюдо, провозглашенное Йозефом Геббельсом разумной жертвой, доступной каждому гражданину рейха, то мы должны помнить, что после Победы нас ждут королевские пиры с настоящим кофе и золотистым хлебом на яйцах и белой муке. Нам говорили, что мы должны всеми силами поддерживать высокую продуктивность, а также сообщать о тех, кто предал Родину, в особенности о тех, кто слушает зарубежные радио и верит в «неоправданно преувеличенные» поражения Германии в Северной Африке и Италии.

«Господи, – подумала я, – да они забеспокоились».

Нацисты, «повелители планеты», начали нервничать. У меня закружилась голова, перехватило дыхание. В голове заиграла старая песенка.

*«Тс-с-с-с-с, – сказала я себе. – Для песен еще рано. Тс-с-с-с-с».*

Той ночью, включая вместе с Вернером «Би-Би-Си» я молилась, чтобы военные неудачи Германии привели к скорому окончанию войны, ведь тогда я могла бы больше не скрываться. Но я ни с кем, даже с Вернером, не делилась своими надеждами. Я скрывала радость, говорила тихо, вела себя скромно и незаметно. Невидимость. Тишина. Всему этому я научилась, пока, сумев скрыться от преследователей, тайно жила в самом сердце Третьего Рейха. Пережившие Холокост сейчас называют таких, как я, *U-boat*, то есть подводными лодками.

Когда я жила уже в Англии и была замужем за Фредом Беером, эти привычки меня оставили. Теперь же Фред умер, а я постарела. Мне тяжело контролировать свои воспоминания, и я снова веду себя так, как научилась тогда, во время войны. Я сижу, как сейчас с вами, в моем любимом кафе на площади в Нетании, на берегу моря, в Израиле, и кто-нибудь подходит и просит рассказать, каково было во время войны жить в Германии с членом нацистской партии, како-

во было притворяться арийкой и вечно бояться себя чем-нибудь выдать. Я отвечаю очень тихо, как будто стесняясь собственного незнания: «Не могу. Знаете, все это давно забылось». Глаза мои становятся пустыми, взгляд теряет фокус, голос делается сонным, тихим, робким. Такой я была, когда жила в Бранденбурге и притворялась необразованной двадцатилетней помощницей медсестры. Мне было двадцать девять, я была еврейкой и когда-то изучала юриспруденцию. Гестапо давно объявило меня в розыск.

Вы должны извинить меня за моменты, когда этот робкий голосок из прошлого вырывается на свободу. Останавливайте меня, напоминайте: «Будьте смелее, Эдит! Рассказывайте».

*Прошло более полувека.*

*Пожалуй, пора.*

# Венская семья Хан

Давным-давно, когда я была венской школьницей, мне казалось, что весь мир собрался в нашем городе и сидит теперь за кофе и приятными беседами в солнечных кафе. Из школы я возвращалась мимо оперного театра, мимо прекрасных площадей, Йозефплац и Михаэлерплац. Я играла в парках Фольксгартен и Бурггартен. Я наблюдала за почтенными дамами в шелковых чулках и щегольских шляпках, за джентльменами с золотыми цепочками для часов и тросточками, следила за тем, как рабочие из всех уголков исчезнувшей империи Габсбургов штукатурят и красят великолепные фасады домов. Руки у них были мозолистые, крупные, умелые. Магазины были полны шелками, хрусталем и экзотическими фруктами. Появлялись все новые и новые изобретения.

Однажды, просочившись сквозь толпу, я пронаблюдала, как девушка в униформе горничной демонстрирует нечто под названием «пылесос». Она насыпала на ковер грязи и песка, включила прибор, и грязь волшебным образом тут же исчезла. Я, пища от восторга, ринулась рассказывать о пылесосе одноклассникам. В десять лет я отстояла длинейшую очередь перед магазином под названием *Die Bhne*, «Сцена». Нако-

нец я села за стол. Передо мной красовалась большая коричневая коробка. Милая девушка надела на меня наушники, и коробка ожила. Заговорила. Запела. Это было радио.

Я тут же побежала в папин ресторан, чтобы рассказать семье. Мою сестру Мими, которая была всего на год младше, радио не заинтересовало. Наша младшая, Йоханна, сокращенно Ханси, была еще слишком мала. Мама и папа были заняты, и времени слушать мой рассказ у них не было. Но я знала, что в тот день познакомилась с чем-то совсем особенным, что радио станет править миром. Помните, что в 1924 году оно только-только появилось. Просто представьте, каким волшебством все это казалось. Люди просто не могли не верить тому, что слышали по радио.

Я в полном восторге поделилась с моим любимцем из числа папиных постоянных гостей, профессором Шпитцером из Технического Университета: «Профессор, тот, кто говорит, может быть очень далеко! Но его голос летит по воздуху, как птица! Скоро мы сможем слышать людей, которые находятся на другом конце земли!»

Я с большим энтузиазмом поглощала газеты и журналы, которые папа держал для посетителей ресторана. Больше всего я любила читать о юриспруденции – описания дел, аргументы и задачи, от которых



просто голова шла кругом. Я носилась по нашему «городу вальсов» в вечном поиске, кому бы рассказать о том, что я прочла и что видела.

Школу я обожала. В моем классе были только девочки: папа не одобрял совместное обучение. В отличие от сестер, я учиться любила, и уроки легко мне давались.

Нас учили, что Франция – наш главный враг, что итальянцы – предатели и что Австрия проиграла Первую Мировую войну только из-за «удара в спину». Впрочем, было не вполне ясно, кто этот удар нанес. Нередко учителя спрашивали, на каком языке мы говорим дома. Таким нехитрым путем они хотели узнать, не говорим ли мы на идише (на идише мы не говорили) и, соответственно, не еврейки ли мы (мы были, конечно, еврейки).

Они хотели знать наверняка, понимаете? Они боялись, что под нашими типично австрийскими лицами прячется еврейство. Этого обмана они допустить не могли. Еще тогда, в 1920-х, им хотелось, чтобы было сразу понятно, еврей человек или нет.

Однажды профессор Шпитцер спросил у папы, какие у него планы на мое дальнейшее образование. Он сказал, что после школы я стану учиться шить и пойду по стопам матери.

«Но у вас, мой дорогой господин Хан, растет крайне

смышленная девочка, – сказал профессор, – вы обязаны отправить ее учиться дальше. Возможно, и в университет».

Папа только рассмеялся. Будь я мальчиком, он бы отдал за мою учебу последнюю рубашку. Я же была девочкой, и он даже не думал ни о каких университетах. Тем не менее раз уж об этом заговорил известный профессор, папа решил обсудить этот вопрос с мамой.

У моего отца, Леопольда Хана, были кудрявые черные волосы и красивые черные усы. Его веселый, общительный характер идеально подходил для ресторатора. У папы было пять старших братьев. Конечно, к моменту, когда можно было говорить о его образовании, деньги в семье давно кончились. Поэтому он и решил выучиться на официанта. Понимаю, что сейчас в это сложно поверить, но тогда для этого нужно было учиться несколько лет. Папу любили. Ему доверяли любые секреты. Ему достался редкий дар: он был очень хорошим слушателем.

Папа был опытным, искушенным человеком. Даже сложно представить, сколько всего он знал и видел. Ему довелось поработать на Ривьере и на чехословацких курортах Мариенбад и Карлсбад. Он бывал на сумасшедших вечеринках, участвовал в Первой Ми-

ровой войне на стороне Австро-Венгрии, был ранен и попал в плен, но сбежал и вернулся домой. Из-за ранения у него плохо двигалась рука. Бриться он сам не мог.

Ресторану в самом центре Вены, на улице Кольмаркт, папа посвятил всего себя. Посетителей встречала длинная полированная стойка. Столовая была дальше, в глубине. Люди приходили к папе каждый день на протяжении многих лет. Папа заранее знал, что тот или иной гость закажет на ужин. Он покупал каждому его любимую газету. Он создал для них уютный и надежный мирок, где все всегда было одинаково.

Мы жили в Четвертом районе, в двухкомнатной квартире в бывшем дворце по улице Аргентиниерштрассе, 29. Наш арендодатель был королевского рода – компания называлась «Габсбург-Лотринген». Мама, как и папа, всю неделю работала в ресторане, так что мы с сестрами там и питались. Пока мы были детьми, за нами следила няня. По дому все делала горничная.

Мою маму звали Клотильда. Это была невысокая, красивая, пышная, привлекательная женщина, но совсем не кокетка. У нее были длинные черные волосы. Мама была терпелива, задумчива, часто вздыхала. Она легко прощала людям ошибки и знала, когда

лучше промолчать.

Всю свою нерастраченную нежность я щедрым потоком выливала на Ханси, самую младшую из нас троих. Она была младше меня на семь лет. В моих глазах Ханси с ее пухлыми розовыми щечками и крутыми локонами была просто херувимом из барочного собора. Мими я недолюбливала – впрочем, взаимно. У нее были слабые глаза, толстые очки и плохой характер: Мими всем вечно завидовала и ходила с кислым лицом. Маму постоянная грусть Мими пугала, так что ей доставалось абсолютно все, что она хотела: по мнению мамы, я, такая веселая и свободная, могла и сама о себе позаботиться. У Мими друзей не было, меня же, как папу, все любили, и мне приходилось везде брать Мими с собой и со всеми ее знакомить.

Папа усердно о нас заботился. Благодаря ему мы и не догадывались, что в мире далеко не все прекрасно. Он все за нас решал, собирал нам приданое. В хорошие времена, если у него было настроение, он мог по пути домой зайти на аукцион и купить в подарок маме какое-нибудь украшение – золотую цепочку или янтарные серьги. Дожидаясь, пока мама развернет упаковку, он всегда прислонялся к спинке одного из наших кожаных кресел и смаковал ее радость. Он восхищался мамой. Они никогда не ругались. Я не преувеличиваю: они *никогда* не ругались. Вечерами

мама шила, папа читал газету, а мы делали уроки. Все мы наслаждались *shalom bait* – так говорят в Израиле, если дома царит мир и гармония.

Думаю, папа хорошо знал, как быть евреем, но нас он этому не учил. Наверное, он думал, что мы впитаем все необходимое с молоком матери. Днем в субботу мы должны были посещать *Judengottesdienst*, детскую молитву в синагоге. Водить нас туда должна была горничная, но она, как и большинство австрийцев, была католичкой и побаивалась синагоги. Мама же, зная, что все работающие женщины во многом зависят от воли прислуги, побаивалась горничной. В итоге посещали молитву мы редко и почти ничего не запомнили. У меня в голове прочно засела только одна песня.

Однажды Храм будет воссоздан,  
Евреи вернуться в Иерусалим.  
Так говорит Святое Писание.  
Да будет так. Аллилуйя!

Если не считать символа веры – *Шма, Исразль! Адонай Элохейну. Адонай Эхад!* – и детской песни о Храме, больше я о еврейских молитвах и службах не знала ничего.

Жаль, что так получилось.

И слава Богу, что я знала хотя бы это.

На Рош а-Шана и Йом Кипур папин ресторан закрылся (там, как и у нас дома, не подавали ни свинину, ни морепродукты, но в остальном правил кашрута не придерживались). На эти праздники мы ходили в синагогу – впрочем, в основном чтобы встретиться с родственниками. Мама и папа состояли в дальнем родстве: оба еще до свадьбы носили фамилию Хан. У мамы был брат и две сестры, у папы – три сестры и шесть братьев. В Вене жило больше тридцати Ханов, приходившихся друг другу двоюродными и троюродными братьями и сестрами. Прогуливаясь по парку Пратер, в третьем по счету кафе вы непременно обнаружили бы как минимум одного Хана. Каждая ветвь нашей большой семьи соблюдала еврейские религиозные традиции по-своему. Например, тетя Гизела Киршенбаум, папина сестра и тоже владелица ресторана, каждый год бесплатно приглашала бедняков на Седер Песах. Мамин брат Рихард, сто-процентный атеист, женился на наследнице мебельной фабрики из Тополкани (это недалеко от Братиславы). Его избранницу звали Роза, и ее воспитывали в духе ортодоксального иудаизма. Ей было неприятно видеть, насколько Ханы ассимилировались, и она всегда уезжала на праздники в Чехословакию.

Иногда в моих родителях неожиданно просыпалось

религиозное чувство. Например, как-то я, будучи в гостях у подруги, съела сэндвич с кровяной колбаской. «Это так вкусно!» – рассказала я маме, и она просто задохнулась от ужаса. Это меня поразило. В другой раз я, ничего особенного не имея в виду, поинтересовалась у папы, могу ли выйти замуж за христианина. Сверкая глазами, он ответил: «Нет, Эдит. Я этого не вынесу. Это меня убьет. Конечно, нет».

Папа считал, что евреи должны быть лучше других. Он требовал, чтобы мы лучше всех учились, чтобы осознавали социальную ответственность, чтобы имели прекрасные манеры, чтобы одевались с иголки. Он хотел, чтобы в нас жили железные моральные принципы.

Тогда, конечно, я об этом не задумывалась, но сейчас понимаю: папа так настаивал, чтобы мы, евреи, были лучшими, потому что вся страна была уверена, что хуже нас никого нет.

У маминых родителей был серый дом с лепниной к северу от Вены, в небольшом городке Штокерау. Мы навещали их по выходным и всегда приезжали по праздникам. Там жила моя двоюродная сестра Юльчи. Когда Юльчи было девять, мама (мамина сестра Эльвира) оставила ее у бабушки, а сама уехала домой и покончила с жизнью. Отец Юльчи остался в

Вене. Юльчи же, пережив эту травму, стала робким, сложным ребенком. Наши бабушка и дедушка воспитали ее, как свою дочь.

Юльчи была крупной, округлой, темноволосой и темноглазой девочкой. У нее были полные, чудесно очерченные губы, золотое сердце и то, чего так не хватало моей сестре Мими: великолепное чувство юмора. Юльчи играла на фортепиано – плохо, но, поскольку весь клан Ханов был обделен музыкальным слухом, нам ее слушать нравилось. Мы сочиняли оперы, а она старательно и неуклюже аккомпанировала. Я, «сестра-интеллектуалка», влюбилась в готические романы, полные тайн и страстей, а Юльчи обожала кино и свинг.

Бабушка Хан – низенькая, полная, сильная и невероятно строгая женщина – часто приказывала нам сделать что-нибудь по дому, а сама уходила на рынок. Конечно, мы ни секунды не занимались делами, а просто играли. Стоило нам увидеть ее вдалеке на дороге, как мы влезали в дом через окно и принимались, как послушные и старательные девочки, все мыть и подметать, чтобы бабушка, вернувшись, увидела, какие мы работающие. Не думаю, что она хоть раз нам поверила.

Бабушкой правило стремление привнести в мир как можно больше прекрасного. Она то вывязывала



изящные кружевные салфетки, то учила Юльчи печь пироги, то ухаживала за курами, гусями или собакой (ее звали Морли), то поливала свои тысячи растений в горшочках. У нее были, кажется, все существующие в мире кактусы. Она заранее предупреждала маму: «Клотильда! В воскресенье у меня расцветет кактус. Привози детей, пусть посмотрят». Мы приезжали в Штокерау и восхищались этими цветами пустыни, тем, как мужественно они борются за жизнь в нашей холодной стране.

Дедушка Хан держал магазин швейных машин и велосипедов, а также работал агентом на компанию Пух, производителей знаменитых австрийских мотоциклов. По воскресеньям, когда местные фермеры, посетив церковь и насидевшись в пабе, отправлялись за покупками на всю неделю, бабушка помогала дедушке в магазине. Дедушку и бабушку знали все. Во время карнавалов, когда каждая гильдия готовила представление, губернатор Штокерау всегда усаживал их рядом с собой.

На очередной дедушкин день рождения нам дали задание выписать из маминой *Wunschbuch* одно стихотворение и выразительно его прочесть. Хорошо помню, как он сидел, гордо, словно кругленький король, принимая наше стихотворное подношение, и у него блестели глаза. Помню, как крепко он меня обни-

мал. Совсем недалеко от дедушкиного и бабушкиного дома протекала река, один из притоков Дуная. Мы с Юльчи обожали купаться. Чтобы дойти до берега, нужно было пройти по высокому деревянному мосту. Однажды, когда мне было семь, я проснулась раньше всех, побежала на речку, поскользнулась на этом мосту и полетела вниз, вниз, вниз – и в воду. Всплыв к поверхности, я в ужасе завопила. Меня спас какой-то молодой человек.

С тех пор я стала бояться высоты. Я не каталась на лыжах в Альпах, не влезала на крыши зданий и не вешала на купола социалистических плакатов. Я всегда старалась держаться поближе к земле.

В 1928 году инфляция дошла до того, что цена блюд успевала удвоиться за время обеда, и папа решил продать ресторан.

Слава Богу, ему повезло с новой работой. Его пригласила к себе семья Кокишей – папа уже работал у них на Ривьере.

Принадлежавший им отель «Бристоль» стоял на лужайке у снежных гор. В мраморных спа побулькивали лечебные источники, по саду бегали откормленные белки, а по дорожкам, негромко переговариваясь, прогуливались богачи. Вечером в беседке непременно пела или играла какая-нибудь талантливая, по

мнению родителей, девушка. В этот рай мы приезжали каждое лето.

«Бристоль» был единственным кошерным отелем в этой местности, а значит, все евреи останавливались именно там. Там бывали, например, Оксы, владелец «Нью-Йорк Таймс», Зигмунд Фрейд и писатель Шолем Аш. Однажды на обед в отель пришел высокий блондин в баварских брюках *lederhosen* и тирольской замшевой шляпе. Папа подумал, что он ошибся и зашел не туда. Однако блондин снял шляпу, надел ермолку и встал, чтобы произнести браху. «Да уж, даже сами евреи не всегда могут узнать своих», – рассказывал потом, посмеиваясь, папа.

Там, в Багдаштейне, мы впервые увидели польских раввинов: они носили прекрасные длинные бороды и ходили, степенно сложив руки за спиной. Их окружала аура таинственности и спокойствия. Один из этих раввинов спас мою жизнь.

Мне тогда было шестнадцать. Кто может в шестнадцать ограничить себя в удовольствии? Я слишком долго просидела в одной из купален и схватила тяжелую простуду. Началась лихорадка. Мама уложила меня в постель, сделала чаю с медом, приготовила компрессы для лба и запястий. Вечером в дверь постучался один из раввинов. Он объяснил, что пропустил вечернюю молитву в шуле и просит дозволения

произнести ее у нас дома. Конечно, мама разрешила. Когда он закончил, мама попросила у него благословения для больной дочери.

Он весь так и лучился добротой. Он подошел к моей постели, погладил меня по руке, произнес что-то на иврите – я не знала на этом языке ни слова – и ушел. Я выздоровела.

В дальнейшем, когда я была уверена, что не выживу, я всегда вспоминала этого раввина и думала, что его благословение защищает меня. Это очень меня успокаивало.

Конечно, отдельные моменты в жизни этого маленького рая оставляли желать лучшего, но у нас не было иного выхода, как мириться с некоторыми неудобствами. Например, в провинции, где стоял отель, кошерный забой скота был запрещен. Шохету приходилось забивать животных в соседней провинции и оттуда доставлять мясо в «Бристоль». Кроме того, поколение наших бабушек и дедушек проживало в пригородах Вены – во Флорицдорфе или Штокерау. В самой Вене евреям жить запрещалось. Запрет был снят, когда наши родители были уже взрослыми людьми.

Как видите, мы сталкивались со всеми трудностями жизни евреев в антисемитской стране, но упускали все обычные плюсы еврейства. Мы не изучали То-

ру, не знали молитв, не жили тесной общиной. Не говорили ни на идише, ни на иврите. Нас не поддерживала глубокая вера в Бога. В Польше были хасиды, в Литве – ешивы, но мы не имели к ним никакого отношения. Мы не были внутренне свободны, как американцы. Израиля тогда не существовало. Не было солдат в пустыне, не было идеи, что наш народ ничем не отличается от других народов мира. Помните об этом, слушая мой рассказ.

У нас был только ум и стиль. Мы жили в Вене, а это особенный город. Императрица Дунайская, Красная Вена. Там были социальные пособия, рабочим выдавалось жилье, там гении нашего века, такие, как Фрейд, Герцель или Малер, рождали свои великолепные идеи, там все обсуждали психоанализ, сионизм, социализм, реформы, нововведения. Своим блеском Вена освещала весь мир.

Знаете, евреям полагается «нести свет народам». И уж в этом отношении ассимилированных венских евреев упрекнуть было не в чем.

# Хорошая девочка Пеги Розенфельда

Папа решил, что я буду учиться дальше, и моя жизнь кардинально изменилась: я впервые получила возможность общаться и дружить с мальчиками. Я, конечно, говорю не о сексе. В моем кругу девочки и не думали расставаться с девственностью до свадьбы. Дело было в интеллектуальном развитии.

Видите ли, в те времена мальчики были гораздо более образованны, чем девочки. Они больше читали, больше путешествовали и больше думали. Впервые у меня были друзья, с которыми можно было обсудить то, что меня по-настоящему интересовало: литературу, историю, общественные проблемы и что нужно сделать, чтобы абсолютно все были счастливы.

Я любила математику, французский, философию. Записи я делала стенографическими знаками, но никогда их не перечитывала: слишком хорошо запоминала все на занятиях. Каждое утро перед уроками ко мне приходила заниматься математикой одна моя подруга. Математика так плохо ей давалась, что мама даже окрестила ее «фройляйн Энштейн». Я очень старалась объяснять все так, чтобы она не расстра-

ивалась и не чувствовала себя униженной, но наградой за мой такт и терпение были сплошные жалобы. «Почему все евреи такие умные?» – горько вопрошала она.

Я тогда была типичным синим чулком. Меня страстно увлекали чужие идеи и мечты о приключениях. Я думала уехать в Россию, жить среди крестьян и писать гениальные романы о романтических отношениях с комиссарами. Я думала стать юристом, а может, и судьей, и вершить справедливость. Об этом я впервые задумалась в сентябре 1928-го, когда все только и говорили, что о суде над Филиппом Халсманом, так называемым «австрийским Дрейфусом».

Халсман с отцом отправились в поход в Альпы. Они были в районе Иннсбрука, когда Филипп сильно обогнал отца, а когда вернулся, обнаружил, что тот, видимо, оступился и упал с тропы вниз, в ручей. Он был мертв. Филиппа обвинили в убийстве собственного отца. У стороны обвинения не было никаких доказательств, но Халсман был евреем, а многие австрийцы вполне допускали, что евреи от природы склонны к убийствам. Этим и воспользовались прокуроры. Один проповедник провозгласил с кафедры, что отказ Халсмана признаться в убийстве отца делает его хуже Иуды. Какой-то полицейский утверждал, что к нему, как в Гамлете, пришел призрак убитого отца и обви-

нил в своей смерти сына.

Филиппа приговорили к десяти годам каторжных работ. Он провел в заключении два года. Затем благодаря вмешательству нобелевского лауреата Томаса Манна и других влиятельных людей Филиппу было даровано помилование и разрешение на выезд из Австрии. Он переехал в Америку и стал известным фотографом.

Эта история очень меня вдохновила. Я так и видела себя слугой закона, представляла, как сижу в зале суда. Я верила, что не допущу осуждения невиновного.

Я никогда не нарушала никаких правил, если не считать того, что я регулярно прогуливала физкультуру. Это никого не волновало, потому что и представить было невозможно, чтобы девочке из моего круга когда-то потребовалась физическая сила. Я была немного *zaftig*, пухленькой – тогда это считалось красивым. Мальчикам я нравилась.

Я прекрасно их помню. Вот Антон Ридер, красивый, высокий, бедный, строгий католик. Мы поглядывали друг на друга издали. Вот Рудольф Гиша, умный и амбициозный. Он звал меня своей колдуньей и уговорил пообещать, что после учебы мы поженимся. Пообещать я пообещала, но сказала, что эта помолвка будет нашим с ним секретом. Я прекрасно знала, что если отец услышит о моем намерении выйти замуж



не за еврея, он запрет меня дома и ни за что не пустит в университет. Ради университета я была готова на все. Он был для меня куда важнее всех мальчиков, вместе взятых.

В моем классе было тридцать шесть учеников, евреев из них было трое: Штеффи Канагур, Эрна Маркус и я. Однажды кто-то написал на их партах: «Евреи, ваше место в Палестине!». На моей парте надписей не было. Те девочки были из Польши, я же была австрийка. Кроме того, по ним было гораздо лучше видно, что они еврейки.

*Стоял 1930 год.*

Эрна Маркус была сионисткой. Мой отец как-то разрешил сионистам устроить встречу в его ресторане и пришел к выводу, что сама идея воссоздания еврейского государства в Палестине неосуществима, что это только пустые мечты. Тем не менее, на нас лилось столько антисемитской пропаганды, что многие молодые венские евреи тянулись к сионистам. Среди них была и моя сестра Ханси. Пока я читала Канта, Ницше, Шопенгауэра, зачитывалась Гете и Шиллером, Ханси успела присоединиться к левой сионистской молодежной организации Хашомер-Хацаир. Она решила пройти курс *Hachshara* и поехать в Израиль в числе первой группы поселенцев.

Штеффи Канагур была коммунисткой, как и ее брат

Зигфрид. Как-то в воскресенье я сказала родителям, что пойду на демонстрацию коммунистов против христианско-демократического правительства. На самом деле я собиралась встретиться с Рудольфом Гишей.

«Ну что, как там демонстрация?» – поинтересовался вечером папа.

«Это просто нечто! – воскликнула я. – Было столько красных шариков, у всех были флаги! Выступал хор коммунистической молодежи, был оркестр с трубами и огромными барабанами... и... что такое?»

Папа ухмылялся. Мама спрятала лицо в фартук, безуспешно пытаясь подавить взрыв смеха.

«Демонстрации не было, – сказал папа, – правительство ее запретило».

Я с позором отправилась в комнату играть в шахматы с Ханси. Весь вечер я думала, почему правительство решило отменить демонстрацию Зигфрида Канагура.

Видите ли, я ничего не смыслила в политике. Все мое участие в политических собраниях было для меня в основном игрой, хорошей возможностью пообщаться с другими умными ребятами. Когда мы с Мими присоединились к клубу социалистов, идеология нас интересовала в последнюю очередь. Нам нравилось общение с новыми людьми. Мы слушали лекции о тяжелом положении рабочих, учили песни и знако-

мились с мальчиками из других школ. Там я подружилась с Коном по прозвищу Траур, который собирался стать врачом, с Цихом, которого все звали Весельчаком – он планировал всю жизнь провести в лыжных походах, с красивым, смуглым, невысоким Вольфгангом Ромером и, наконец, с Йозефом Розенфельдом. Его называли исключительно Пепи.

Пепи был старше меня всего на полгода, но в учебе он обгонял меня на год. Кроме того, психологически он был гораздо взрослее, чем я. Он был строен и грациозен, но уже в восемнадцать лет начал немного лысеть. У Пепи были ярко-голубые глаза и милейшая хитрая улыбка. Он курил. И, конечно, он был невозможно умен, просто гениален. Куда без этого.

Пока мы танцевали на школьном балу, я ему все уши прожужжала о пьесах Артура Шницлера.

«Давай встретимся в парке у Бельведера. В восемь, в следующую субботу», – предложил он.

«Хорошо, – согласилась я, – увидимся через неделю». Меня ждали вальсы с Цихом, Коном, Антоном, Вольфгангом и Рудольфом.

Что ж, в назначенную субботу я решила пройтись по магазинам и позвала с собой Вольфганга. Он согласился. Пошел дождь, и я промокла до нитки, так что Вольфганг повел меня к себе домой и познакомил с мамой, фрау Ромер. Фрау Ромер оказалась неве-

роятно милой женщиной. Она высушила мне волосы и угостила клубникой в сливках. Вскоре пришел ее муж вместе со своим бесшабашным братом по имени Феликс. Чуть позже появилась, отряхивая зонтик, младшая сестра Вольфганга Ильзе. Мы свернули ковер, вытащили граммофон, включили новую свинговую пластинку и стали танцевать. И тут пришел насквозь мокрый Пепи Розенфельд.

«Эта девчонка из клуба социалистов – мы договорились встретиться у Бельведера, я ее час прождал и ушел. Вот зараза! Права была мама! Этих девочек не поймешь!»

Он стоял там и смотрел на меня. С него капало. Играла музыка.

«Прости, – сказала я, – я забыла».

«Давай потанцуем, – ответил он, – я расскажу, как я на тебя сейчас зол».

На следующий день ко мне домой пришел мальчик по имени Сури Фельнер. Он принес письмо, подписанное двумя именами: Вольфганг и Пепи. Видимо, они все обсудили и решили, что я должна выбрать, с кем из них я хочу быть. Избранник станет моим молодым человеком, а проигравшему придется залечивать разбитое сердце.

Я написала снизу на том же листке «Вольфганг» и отправила посылного обратно. Через пару месяцев

я поехала с родственниками в горы и начисто забыла, что успела выбрать Вольфганга Ромера. Слава Богу, он тоже забыл об этой истории.

Окончание старшей школы пришлось на 1933 год. Я решила писать работу по книге Ницше «Так говорил Заратустра». Для этого мне нужно было сходить в Национальную библиотеку (а по пути домой я пообещала встретиться с Мими у колонн-близнецов Карлскирхе). Неожиданно словно бы из ниоткуда возник Пепи Розенфельд. Он умел так появляться – подкрадывался беззвучно, словно кошка или привидение. Он всегда чуть улыбался. С ходу отобрал у меня книги, он пошел со мной в ногу.

«Ты уже была в Национальной библиотеке?» – поинтересовался он.

«Нет».

«Ну, а я вот с тех пор, как поступил в университет на юриспруденцию, там частенько бываю и знаю, какая эта библиотека огромная. Если не знаешь, как там все устроено, наверняка перепутаешь входы и выходы. Еще даже зайти внутрь не успеешь, а уже потеряешься! Пойдем, я тебя провожу».

Я разрешила. Мы шли с ним вдвоем мимо дворцов, сквозь парки и стаи голубей. Мы даже не слышали, как звенят городские часы.

«Работа будет очень длинной и сложной, – сказала

я, – я собираюсь включить в нее цитаты всех великих философов – Карла Маркса, Зигмунда Фрейда».

«А Адольфа Гитлера?»

«Гитлера? Он не философ. Он просто крикун и кретин».

«Возможно, уже очень скоро люди не сумеют отличить одно от другого».

«Невозможно, – серьезно сказала я. – Я читала гитлеровскую *Mein Kampf* и пару работ его коллеги, Альфреда Розенберга. Я разумный человек, я стремлюсь к объективности и считаю, что, прежде чем принимать решение, нужно выслушать обе стороны. Так вот, я читала, что они пишут, и со всей ответственностью могу сказать, что они просто кретины. Их болтовня о том, как евреи испортили жизнь якобы высшей арийской расы и стали причиной всех бед Германии – просто бред. Ни один человек в здравом уме в это не поверит. Гитлер просто смешон. О нем очень скоро забудут».

«Как ты забудешь о других парнях», – хитро улыбнулся Пеппи.

Мы зашли выпить кофе с пирожным – тогда мы часто заходили днем в кафе. Он рассказывал о своей учебе, о профессорах, о прекрасном будущем доктора юридических наук. Солнце золотило шпили церковной. В парке у Бельведера Пеппи оборвал мою болтовню легким поцелуем. Я начисто забыла, о чем гово-

рила. Он отложил книги, обнял меня и поцеловал, на этот раз крепко. До библиотеки мы так и не добрались. Я так и не встретилась с Мими (она еще несколько лет припоминала мне эту невнимательность). Но в тот день то, что предсказывал Пеппи, действительно произошло: все остальные парни были забыты. Мгновенно. И навсегда.

Пеппи умел привлечь мое внимание. Где бы я ни была – в классе, в книжном магазине, в кафе, стоило мне почувствовать особое покалывание на затылке, и я знала, что он рядом. Обернешься – и действительно, он здесь. Он никогда не говорил ни о чем, а всегда что-нибудь объяснял или доказывал. Казалось, мой вечный поиск человека, который разделяет мою страсть к книгам и мыслям, был окончен. Очень скоро я безнадежно влюбилась в Пеппи и ни о ком другом думать не могла. В какой-то момент мне пришло письмо от бывшего фаворита, Рудольфа Гиши, который тогда учился в Чехословакии, в Судетенланде. Он писал, что решил вступить в нацистскую партию, что Адольф Гитлер абсолютно прав во всем, включая его взгляд на евреев, и что я должна простить ему то обещание на мне жениться. Я сделала это с большой радостью.

К моменту нашего с Пеппи знакомства его отец был уже мертв. Он умер в Штайнхофе, знаменитой психи-

атрической больнице, выстроенной Кайзером. Дяди Пепи, влиятельные люди Айзенштадта, выплачивали его матери, Анне, ежемесячную пенсию. Ради брака Анна перешла в иудаизм, но в душе навсегда осталась истовой католичкой. После смерти господина Розенфельда Анна продолжала притворяться еврейкой ради этих выплат. Кроме того, в 1934 году ради денег она скрыла от семьи факт нового брака с господином Хофером, страховым агентом из Ибса.

Для Пепи устроили нечто вроде праздника бар-мицвы. Фактически Анна организовала бар-мицву, чтобы Пепи подарили побольше подарков. Она была весьма разочарована, когда вместо денег дяди преподнесли племяннику прекрасное собрание сочинений Шиллера и Гете. Странно, но мне кажется, что если что-то и связывало Пепи с его еврейской частью, то это были эти немецкие книги. Он знал, что от родственников с маминой стороны такого подарка можно было не ждать. Он знал, что интеллектуально глубоко связан с евреями, с папиной стороной семьи. А в Пепи ничего не было сильнее и важнее интеллекта.

Анна не была глупой, но ей не доставало образования. Она была суеверна, полна неосознанных страхов и надежд. Анна была крупной женщиной, лицо у нее постоянно было красное. Она страдала одышкой и одевалась, пожалуй, несколько неприлично яр-



ко для дамы ее возраста и объемов. Она широко и фальшиво улыбалась, завивала свои рыжеватые волосы на мелкие бигуди и протирала лицо пивом. Целыми днями она сплетничала. Анна никогда ничего не читала.

Даже когда Пепи вырос, она продолжала спать с ним в одной комнате. Прислуживала она ему, словно королю: каждый день подносила обед на тонком фарфоре и шикала на соседских детей, чтобы не шумели, пока Пепи отдыхает после обеда.

Она лучше всех знала, у кого и когда родился ребенок с врожденным уродством, и имела собственную теорию, что от чего бывает: заячья губа – значит, мать тщеславна, колченогий – так отец развратник. Пепи она говорила, что его отец в конце жизни страдал деменцией – по ее словам, верный знак сифилиса. Я так и не узнала, правда это была или нет. Возможно, на эту мысль ее навел тот же сорт галлюциногена, что использовал Гитлер, когда решил, что сифилис – еврейская болезнь.

Анна покупала «новое вино»: она знала, что оно «еще молодое», а следовательно, «алкоголя в нем нет, напиться невозможно». Вечерами она сидела в гостиной в их квартире на Дампфштрассе, 1, распивала «новое вино» и с обеспокоенным видом слушала нацистскую радиостанцию.

«Ради Бога, мама! – как-то возмутился Пепи. – Ну что ты себя накручиваешь, слушаешь тут эту пропагандистскую ерунду?»

Анна глядела на нас расширенными от страха глазами.

«Эту ерунду нельзя сбрасывать со счетов».

«Ну мама...»

«Нет, сынок, все это очень опасно, – настаивала она, – они ненавидят евреев. Они во всем их винят».

«Но никто их не слушает», – пожал плечами Пепи.

«Все их слушают! – воскликнула Анна. – Все! В церкви, на рынке – я слышу, что там обсуждают! Я знаю, все это слушают и все в это верят!»

Она была глубоко взволнована, готова расплакаться. Я тогда решила, что виновато вино.

Папа сдался. Меня отправили в университет. Я решила учиться на юридическом факультете.

В те времена будущие судьи и будущие юристы учились по одной программе, а специализировались уже после выпускных экзаменов. Мы изучали римское, немецкое и церковное право, гражданский, уголовный и коммерческий кодекс, международное право, политологию, теорию экономики, а также несколько новых предметов, имеющих отношение к преступной деятельности и расследованиям – например, психиатрию и криминалистическую фотографию.

Я купила небольшой фотоаппарат и снимала знакомых.

Анна подарила сыну камеру Leica. Пепи устроил дома фотолабораторию и снимал разные натюрморты: кости домино на столе, освещенные косым лучом солнца, книги или фрукты.

Когда Гитлер пришел к власти в Германии, я была в горах с девочками из клуба социалистов. Помню, там были Хедди Дойч – ее отец, еврей, был членом Парламента – и Эльфи Вестермайер – она училась на врача. Мы ночевали на сеновалах у озер, недалеко от Сант Гильдена и Гмундена. В подошвы ботинок для лучшего сцепления мы вбили шипы. Мы гуляли по горам в голубых рубашках и распевали Интернационал, «*Das Wandern Ist des Mllers Lust*» и «*La Bandiera Rossa*» («Красный флаг»). Я до сих пор помню слова.

Во время семестра мы с друзьями собирались в клубе социалистов и обсуждали, как спасти мир. В те беспокойные месяцы многие только политикой и жили и готовы были умереть за свои идеалы. Мы же в основном спорили.

Два парня, Фриц и Франк, постоянно, но не слишком сосредоточенно играли в настольный теннис. Мячик отбивал по столу ровный и четкий ритм. Мир между тем сходил с ума. Пара девочек иногда приносили из дома торты. Кто-то принес пластинки с музыкой

для танцев. Пепи отдал клубу шахматы. Мы втроем – я, Пепи и Вольфганг – регулярно устраивали матчи. Иногда я даже выигрывала.

«Освальд Шпенглер утверждает, что век культурных достижений прошел, – задумчиво сказал как-то Пепи, переставляя на нужное место ладью, – он считает, что мы становимся материалистами и философами, что мы разучились действовать».

«Наверняка его очень любят нацисты, – пожал плечами Вольфганг, обдумывая ситуацию на доске и прикидывая, что мне лучше сделать, – они ведь гордятся своей решительностью».

«Нет, его работы сейчас запрещены, – ответил Пепи, – Шпенглер говорит, что худшее впереди. Это их не устраивает».

«Конечно, они-то считают, что мир ждет прекрасное будущее, – сказала я, загоняя в угол короля Пепи, – они уже предвкушают тысячелетний рейх, где на них, на высшую расу, будут трудиться недолюди».

«А ты как думаешь, что будет?» – отвлекся от тенниса Фриц.

«Я лично надеюсь, что у меня будет шесть детей, я их расскажу вокруг стола, каждому подоткну за воротник салфетку, накормлю обедом, напою чаем, и они скажут мамочке, что штрудель очень вкусный!»

«Откуда там штрудель? – ухмыльнулся Пепи. – Что,

если бабушка Хан будет занята?»

Я шутливо его толкнула. Он сжал мне руку.

«Слышали, что Гитлер забирает детей? – спросил Вольфганг. – Если родители не воспитывают их в духе национал-социализма».

«Но суды никогда такого не допустят!» – возмутилась я.

«В судах давно уже одни нацисты», – объяснил Пепи.

«Как вообще возможно, чтобы горстка наглецов так быстро подорвала демократические институты великой страны?!» – Вольфганг стукнул кулаком по столу, опрокинув несколько фигур.

«Фрейд сказал бы, что это триумф эго, – сказал Пепи, – нацисты считают себя великой силой. Такое самомнение слепит остальных глаза. Проблема в том, что у них полностью отсутствует самокритика. Стараясь достичь истинного величия, они добьются только пародии на него. Цезарь покорял народы, захватывал в плен их правителей, использовал их идеи и обогащал этим свою империю. Гитлер же сожжет целые нации, до смерти запытает их правителей и, наконец, уничтожит мир».

Все умолкли, услышав предсказание Пепи. Танцующие остановились, разговоры оборвались. Фриц и Франк отложили ракетки.

«Что же нам делать, Пепи?»

«Что делать? Бороться за верховенство закона. Верить в то, что однажды на Земле наступит социалистический рай, – ответил Пепи, приобняв меня за плечи, – что будет один класс. Ни господ. Ни рабов. Ни черных. Ни белых. Ни евреев. Ни христиан. Будет одна раса – человеческая».

Никаких слов не хватит, чтобы описать охватившую меня тогда гордость. Я была девушкой Пепи, наш бесспорный интеллектуальный лидер из всех выбрал именно меня. Я была счастлива. И я мечтала, что будущее будет таким, как описал Пепи.

Все время, пока я с 1933 по 1937 год училась в Венском университете, в Австрии не прекращались беспорядки. Канцлер Дольфус хотел сохранить приверженность Австрии католицизму и с этой целью запретил в стране деятельность социалистической партии. Реакция социалистов даже мне, социалистке, иногда казалась глупой.

Я как-то посетила незаконное собрание социалистов. Кажется, выступал Бруно Крайский. Организаторы собрания добились разрешения использовать зал, сказав, что в нем будет проходить репетиция хора. Нам сообщили, что, если придет полиция, мы должны будем запеть «Оду к радости» Бетховена. Пришлось

тренироваться.

Звучали наши потуги неописуемо ужасно. Я, как и все, кусала губы, руки, жевала нотную тетрадь, но ничто не могло сдержать рвущийся наружу сумасшедший смех «артистов хора».

Социалисты объявили всеобщую забастовку. Правда, к 1934-му безработица в Вене достигла 30 %. Как бастовать, если у тебя изначально нет работы? Наше мудрое правительство в ответ приказало солдатам обстрелять дома рабочих. Социалисты в долгу не остались.

Потери исчислялись сотнями. Гнев, горе и траур навсегда разделили две силы, которым стоило бы объединиться против нацизма.

Дольфус высылал нацистских лидеров из страны, а Гитлер принимал их с распростертыми объятиями. В Мюнхене действовал мощный радиопередатчик, и оттуда постоянно лились угрозы и клевета. Нам рассказывали, что большевики мучают и убивают в Чехословакии честных немцев, что «лживые, вороватые, жестокие» евреи своими действиями довели мир до экономического кризиса, и это из-за них миллионы людей потеряли работу. Я нацистское радио слушать отказывалась. Вопли Гитлера прошли мимо меня. Я никогда не слышала его голоса.

Студенты-нацисты затевали драки и устраивали

беспорядки, чтобы сорвать университетские занятия. Они избивали студентов и преподавателей, осмелившихся высказаться против Гитлера. Забрасывали аудитории зловонными бомбами, чтобы там было невозможно находиться. В ответ на это полиция стала разгонять студенческие демонстрации слезоточивым газом. На случай, если кто-то плохо представлял себе, что будет с Австрией, если нацисты придут к власти, к нам приезжали с лекциями немецкие писатели. Встречи с ними проходили в концертном зале. Я хорошо помню своего кумира, Эриха Кестнера, автора прекрасной детской книжки «Эмиль и сыщики», и Томаса Манна. Манн, нобелевский лауреат, создатель «Волшебной горы», был так суров, строг и мрачен, что во мне все замирало.

«Не знаю, что этот день значит для вас, – сказал тогда Манн, обращаясь к протестующим против насилия и нацизма, – но для меня он значит много больше».

Некоторые наши знакомые стали носить белые носки в знак поддержки нацистов. В их числе были Рудольф Гиша, звезда математики «Фройляйн Энштейн», Эльфи Вестермайер и ее ухажер, Франц Сехорс. Я решила, что это временное помутнение.

Видите ли, я была слепа, я осознанно старалась не замечать такие вещи. Конечно, это было не бо-



лее уместно, чем бабушкины кактусы, которые она так упорно разводила у себя в Штокерау.

Австрийские нацисты стали убивать лидеров социалистического движения. 25 июля 1934 года они убили канцлера Дольфуса.

Объявили военное положение. Улицы кишели полицейскими и вооруженной охраной, особенно у дверей посольств, которых в нашем районе было немало. Как-то раз, возвращаясь домой с учебы, я увидела, как полицейский на мотоцикле подъехал к двоим парням, потребовал предъявить документы и проверил их портфели. Я свернула на Аргентиниерштрассе. Там полным ходом шел обыск еще одного молодого человека, а рядом допрашивали его подружку – девушку моего возраста.

Не буду врать, тогда я даже хотела, чтобы и меня задержали. Тогда мне было бы о чем рассказать друзьям. Но меня не замечали! А даже если и смотрели в мою сторону, то абсолютно равнодушно. Что-то во мне заставляло полицию думать: «глупая», «невинная», «ничего интересного». В городе было опасно, но я, двадцатилетняя будущая судья, передвигалась совершенно спокойно. На вид мне было четырнадцать. Никто не видел во мне угрозы.

После смерти Дольфуса канцлером стал Курт фон Шушниг. Его не слишком любили, но уважали. Лю-

ди надеялись, что фон Шушниг сумеет противостоять планам Гитлера.

Мы с Пепи гуляли по Вене, читали друг другу вслух и вместе мечтали о социалистическом рае. Гитлер, тем временем, успел ввести войска в Рейнскую область и разжечь в Испании гражданскую войну. Итальянцы должны были стать союзниками Австрии, но решили объединиться с Гитлером, чтобы напасть на Эфиопию.

А потом умер мой отец.

Это случилось в июне 1936 года. Папа, стоя на пороге ресторана в отеле «Бристоль», окинул взглядом зал – чисто ли на столах, на месте ли официанты – и упал замертво.

Эта беда пришла так неожиданно, что мы оказались совершенно беспомощны. Рухнула наша скала, наша каменная стена.

Мама сидела в гостиной, глядя в никуда. Волосы ее были неприбраны, лицо – залито слезами. Мими рядом сидела совершенно молча. Ее держал за руку ее молодой человек, мой сокурсник и друг Мило Гренцбауэр. Наша младшая, Ханси, никак не могла унять рыдания.

Я ходила на кухню и обратно, принося кофе зашедшим выразить соболезнования. Пришла наша консьержка, фрау Фалат. Юльчи, моя двоюродная сест-

ра, пришла с женихом, высокомерным и красивым чешским портным по имени Отто Ондрей. Юльчи от него не отходила, сжимала его руку и беспрестанно вытирала лицо его платком.

Пепи пришел с матерью. Она сидела рядом с мамой и делилась с ней тяготами одинокой жизни, параллельно чуть ли не прямо интересуясь у других гостей, сколько денег оставил папа.

Я была на кухне с Пепи. Он гладил меня по голове и повторял, что все будет хорошо.

Я ему не верила. Неожиданно я почувствовала себя гораздо более уязвимой, беспомощной перед политическими неурядицами. Как пережить эти смутные времена без защиты отца? Тем летом на Олимпиаде в Мюнхене немецкие спортсмены отдавали честь своему уродливому фюреру. Каждая медаль Германии казалась мне новым ударом, направленным на нашу семью.

Нужно было обеспечивать семью, и мама решила открыть собственное ателье. Она собиралась вырезать из журналов картинки с модными нарядами и давать клиентам возможность лично выбрать ткань и варианты отделки. По обычаю того времени она должна была обойти остальных портних нашего района и спросить, не возражают ли они против того, чтобы она открыла свое заведение.

Все они без исключения одобрили ее решение. Получив такую поддержку, мама поняла, как уважают ее наши соседи.

Со своей стороны я набрала новых учеников – столько, сколько могла – и изо всех сил готовилась к государственному экзамену. Я думала, что нужно только стать доктором юридических наук и начать хорошо зарабатывать, а политические проблемы решатся сами собой.

Мне было крайне сложно сосредоточиться. На учебе мне приходилось продираться сквозь сплошной туман боли и отчаяния. Я часто сидела в библиотеке перед открытой книгой, не в силах ее читать. Как-то ко мне подсел Антон Ридер, моя старая школьная любовь. Он вырос без отца и прекрасно знал это ощущение абсолютной потерянности и беспомощности, эту необходимость резко и преждевременно повзрослеть.

«Ты все еще красива», – сказал он.

«А ты всегда был галантен».

«Я записался в Консульскую академию. Не потому что так уж мечтаю стать дипломатом, а потому что они согласны дать мне стипендию».

«Но это же прекрасно, Антон. Ты сможешь путешествовать, может, поедешь даже в Англию или Америку».

«Будь со мной».

«Что?»

«Я знаю, что ты встречаешься с Пепи Розенфельдом, но он слишком умный. Для него мозги всегда будут важнее совести. Ты достойна лучшего. Ты знаешь, я давно в тебя влюблен. Бросай его и будь со мной. У меня ничего нет. Твой отец тоже умер, и у тебя тоже ничего нет. Мы будем идеальной парой».

Он наклонился над библиотечным столом и взял меня за руку. Антон был такой красивый, такой честный и открытый. На секунду я даже подумала: «Возможно. Почему бы нет?». И в этот момент, конечно, я сразу вспомнила весь долгий ряд причин, почему нет, и Антон, разумеется, все прекрасно понял. Мудрый, как юный дипломат, он поцеловал мне руку и распрощался.

К нам зашел познакомиться новый сосед – приятный и общительный джентльмен по фамилии Деннер. Совсем недавно у него от туберкулеза умерла жена. Она долго и тяжело болела. Теперь у него осталось две дочери: Эльза, которой было одиннадцать, и четырнадцатилетняя Кристль. Деннеру нередко приходилось уезжать в командировки, и девочки должны были заботиться о себе самостоятельно. В связи с этим он решил найти им преподавателя, чтобы они не

отставали в учебе. Консьержка горячо рекомендовала мои услуги, а я с радостью согласилась. Мы договорились, что каждый день после университета я буду проводить время с его дочерьми.

Деннеры жили в бальном зале, таком большом, что и думать в нем было странно о разделении на меньшие пространства. Когда-то там танцевали под барочную музыку люди с «фон» перед фамилиями. Окна там были огромные, от пола и до потолка, пол – деревянный, словно бесконечный. Смотреть было больно на то, как девочки натирают этот паркет.

«Кто придет на бал? – спросила я, наблюдая, как старательно они трут. – Габсбургов свергли. Бурбонов нет».

«Папа хочет, чтобы мы помогали поддерживать былую красу нашей страны», – буркнула Кристль.

У обеих сестер было по щенку с русским именем в память фрау Деннер: она родилась в Беларуси. Щенок Эльзы был послушный и спал у нее на коленях. Щенок Кристль везде высматривал голубей, прыгал на руки гостям и сходил с ума от счастья. Собаки были под стать хозяйкам. Эльза была спокойной, а для Кристль жизнь была вечным приключением.

Кристль училась на курсах предпринимательства, но ей не хватало сосредоточенности. Она ничего не понимала в бухгалтерии и не могла написать «пра-

вильное» письмо. Я сидела рядом, пока она продира- лась сквозь домашнюю работу, и гуляла с ней и ее собакой во дворе дома. Очень скоро Кристль стала обращаться ко мне со всеми своими подростковыми проблемами. Кристль была высокой и очень живой. Волосы у нее были светло-каштановые, а глаза – почти фиолетовые, и ее буквально осаждали молодые люди. Ухажеры стояли под окнами и пели серенады, провожали ее до дома, присылали букеты и угощения для щенка. Юноши были готовы ради нее на все.

Когда мне было двадцать три, а ей пятнадцать, Кристль влюбилась. Ее избранника звали Ганс Беран. Все звали его Берчи.

«Он немного глуповат, – говорил о нем господин Деннер, – но хоть не разбрасывается деньгами, как остальная молодежь». Берчи страшно изводил Кристль. Сначала он с ума по ней сходил, а потом за- стеснялся, когда она наконец прониклась к нему теп- лыми чувствами. Затем он решил, что Кристль для него слишком красива и что он не вынесет ревности, ведь она нравилась не только ему. Потом он не ожи- данно звонил очень поздно ночью и сообщал, что жить без нее не может, и она обязана встретиться с ним в кафе «Моцарт» и выслушать, как он ее обожает.

Стоило мне оказаться на пороге их дома, как запы- хавшаяся Кристль приветствовала меня диким шепо-

том: «Мне нужно с тобой поговорить – наедине!» Затем Кристль уводила меня в темный коридор и рассказывала, какую глупость Берчи сделал на этот раз, и что нужно написать ему письмо, и что без моей помощи ей с этим никак не справиться.

«Ну пожалуйста, Эдит! Если ты напишешь, все будет идеально. Пожалуйста!»

Как я могла ей отказать? Я ни в чем не могла отказать младшим сестрам, ни своим, ни чужим.

Когда Кристль закончила школу предпринимательства, отец устроил праздник. Он нанял лодку и пригласил гостей на ночной круиз по Дунаю. В конце вечеринки официант принес мне букет красных роз. Карточки в нем не было, и я понятия не имела, кто же его прислал.

Однако моя мама, которая ждала меня в гостиной, нашивая на мою новую желтую блузку птичек, сразу все поняла.

«Это от господина Деннера, – объяснила она. – Потому что ты стала для его дочерей второй матерью, ты была к ним добра и внимательна.

Как видишь, Эдит, ты просто обязана стать матерью. У тебя к этому настоящий талант», – улыбнулась мама.

Нацисты орали, что канцлер фон Шушниг намерен возродить Габсбургскую монархию, а в таком случае



Германия будет обязана ввести в Австрию войска и силой положить конец этому плану. Это была прямая угроза.

Какое-то время канцлеру удавалось давать отпор этим обвинениям, но вскоре он увидел, что сопротивляться бесполезно и помогать ему никто не собирается. 11 марта 1938 года мы с Пепи, держась за руки и опираясь друг на друга, гуляли по рабочему району – одинокая теплая колонна любви в холодной, темной ночи. Кто-то высунулся из окна и крикнул, что фон Шушниг подал в отставку.

Стояла полная тишина.

Пепи меня обнял. Я прошептала ему в шею: «Нужно уезжать».

«Нет, нужно просто подождать», – ответил он.

«Нет, нет, нужно уезжать как можно скорее», – сказала я, прижимаясь к нему.

«Не поддавайся панике. Вполне вероятно, что через неделю все это закончится».

«Мне страшно...»

«Ничего не бойся. Я здесь, рядом. Я люблю тебя. Ты моя. Я всегда буду о тебе заботиться».

Он так страстно поцеловал меня, что тело мое стало горячим и очень легким. Какая разница, что политики исчезают, что страны готовятся к войне? У меня был Пепи, мой гений, скала, заменившая мне отца.

На следующий день родители моей мамы праздновали золотую свадьбу. Вся семья должна была собраться на праздник в Штокерау. Мы уже приготовили подарки, торт, вино и тосты.

Однако отправиться в эту поездку нам было не суждено, потому что в тот день в Австрию вошли немецкие войска. В воздухе реяли флаги. Играли марши. Нацистская радиостанция – ставшая единственной радиостанцией – праздновала победу. Тысячи наших друзей, знакомых, соседей и соотечественников вышли на улицы, чтобы радостными криками поприветствовать вермахт.

10 апреля 1938 года более 90 % австрийцев проголосовали «за» объединение с Германией.

Один мой знакомый социалист, отца которого убили нацисты, решил организовать протесты против Аншлюса и предложил мне уйти в подполье. Он сказал, что я смогу жить под другим именем и передавать необходимые сообщения.

Тогда я впервые поняла, а чем смысл гражданского активизма.

«Да, – сказала я, пожимая ему руку. – Я в деле».

Но Пепи был против. Он сказал, что безответственно было бы даже думать об этом, ведь я теперь отвечаю за мать и младших сестер. Что будет с ними, если меня арестуют?

Я сказала тому социалисту, что ему придется работать без меня. Я была хорошей девочкой и делала так, как скажет Пепи Розенфельд.

## В западне

Практически первым делом нацисты раздали христианам Австрии около 100000 бесплатных радио. Где они их взяли? У нас, конечно. Сразу после Аншлюса евреев обязали сдать все печатные машинки и радио. Идея была в том, что, лишив нас связи с окружающим миром, нами будет гораздо проще манипулировать: в изоляции людей легче запугать. Очень разумно. Это сработало.

Заниматься уничтожением венских евреев нацисты назначили Адольфа Эйхмана. Его метод в дальнейшем использовался для того, чтобы сделать и весь остальной рейх *Judenrein*, «свободным от евреев». По сути, он заставил нас очень дорого платить за возможность уехать. Богачи обязаны были отказаться от ценного имущества. Для обычных людей цена билета была столь высока, что многим семьям приходилось выбирать, кто из их детей уедет, а кто останется.

По улицам разъезжали грузовики, полные головорезов в коричневых рубашках. Они гудели, проезжая мимо симпатичных девушек, размахивали оружием и гордо выставляли напоказ нарукавные повязки со свастикой. Если им хотелось, они могли совершенно безнаказанно избить человека или даже забрать его

с собой. Сопротивляющихся убивали или отвозили в Дахау, Бухенвальд и другие концентрационные лагеря. (Помните, что тогда концентрационные лагеря были просто тюрьмами для противников нацистского режима. Там сидели, например, фон Шушниг и Бруно Беттельгейм. Да, узников принуждали к тяжелому труду, условия там были ужасные, но все же из таких лагерей нередко возвращались. Слово «концлагерь» стало означать адскую жестокость и почти неизбежную смерть только в 1940-х. До этого никто и представить не мог, что когда-то будут существовать лагеря смерти, такие, как Аушвиц).

Как описать наше состояние, когда в Австрию пришли нацисты? Еще вчера мы жили в мире, где все было разумно. А сегодня все – одноклассники, учителя, соседи, продавцы, полицейские, бюрократы – все сошли с ума. Они ведь давно носили в себе ненависть к нам – ненависть, которую мы привыкли называть «предрассудками». Какое мягкое слово! Вот что такое эвфемизм! На самом деле они давно ненавидели нас страшной ненавистью, древней, как сама их религия. Они родились с этой ненавистью и выросли с ней. Теперь же Аншлюс просто сдернул с этой ненависти прикрывавшее ее легкое полотно цивилизации.

Протестующие написали на асфальте антинацистские слоганы. СС же схватили евреев и под дулом пи-

столета заставили отмывать эти надписи. Вокруг издевательски смеялись толпы австрийцев. По радио нас винили во всех бедах и проблемах планеты. Нацисты называли нас недоллюдьми, через минуту же – сверхлюдьми, обвиняли нас в том, что мы планируем их уничтожить, обобрать до нитки, утверждали, что обязаны захватить мир, чтобы его не захватили мы. Они говорили, что нас нужно лишиться всего, что у нас есть, что мой папа, упавший замертво на работе, не заработал на нашу прекрасную квартиру, на кожаные стулья в столовой, на мамины сережки, а как-то украл все это у христиан. А значит, они имеют право все это у нас забрать.

Неужели наши друзья и соседи в это верили? Разумеется, нет. Они не были идиотами. Но они столкнулись с инфляцией, безработицей, кризисом. Конечно, они хотели вернуть утраченное, и легче всего было украсть желаемое у других. Веря в жадность евреев, они чувствовали себя вправе забрать у нас абсолютно все.

Мы же, парализованные страхом, сидели в своих домах и ждали, когда это безумство прекратится. Ведь Вена, такая щедрая, изящная, остроумная и прекрасная, обязательно восстанет против этого кошмара. Мы все ждали и ждали. Постепенно закон ограничил наше участие во всех сферах жизни. Нас не пус-

кали в кино и на концерты. Нам нельзя было ходить по определенным улицам. На витрины еврейских магазинов нацисты повесили таблички, предупреждающие честных граждан ничего там не покупать. Мими уволили из химчистки, потому что христианам запретили нанимать евреев. Ханси больше не могла ходить в школу.

Как-то дядя Рихард пошел в кафе, в которое ходил уже двадцать лет. Теперь его разделили на арийскую и еврейскую половины, так что он сел в еврейской части. Дядя Рихард был блондином и на еврея был не похож, так что официант, который его не знал, сказал ему пересесть на арийскую половину. Там его встретил знакомый официант и попросил вернуться обратно. Дядя ушел домой.

Барон Луи де Ротшильд, один из самых обеспеченных евреев Вены, попытался уехать. Нацисты поймали его в аэропорту и отправили в тюрьму. Там его каким-то образом убедили отписать все имущество нацистскому режиму. После этого его отпустили. СС заняли дворец Ротшильдов на Принц-Ойгенштрассе и сделали из него Центральный отдел еврейской эмиграции.

Все обсуждали, стоит ли уезжать, и как это сделать. «Может, мы могли бы поехать в Палестину, в кибуц?» – предложила я Пепи.

«И ты, мой милый мышонок, будешь работать на ферме? – он рассмеялся и пощекотал меня. – У тебя же на пальчиках будут мозоли».

Я целыми днями стояла в очередях у консульства Великобритании, чтобы получить разрешение на работу горничной в Англии. Казалось, вместе со мной стояли все молодые еврейки Вены.

К нам с моей двоюродной сестрой Элли с поклоном обратился какой-то джентльмен из Азии. «Вы хотели бы увидеть чудеса Востока... Великую Стену... Дворец Императора? В таком случае я предлагаю вам интересную работу в нескольких китайских городах, – сказал он. – Мы все оформим и устроим – паспорта, переезд и проживание. Машина тут недалеко. Если хотите, уже завтра вы покинете Австрию». Наверняка кто-то и правда ушел с ним к машине.

Элли получила работу в Англии. Мне дали разрешение, но работы не было.

Как-то раз Ханси не пришла вечером домой. Мы с Мими отправились ее искать. Когда мы вернулись в одиночестве, мама расплакалась. В городе, полном антисемитов, пропала симпатичная семнадцатилетняя еврейка. Мы умирали от страха.

Ханси вернулась около полуночи. Она казалась старше, мрачнее и бледнее, чем раньше.

Она сказала, что нацисты забрали ее с улицы, при-



везли в отдел СС и, угрожая пистолетом, заставили пришивать пуговицы к нескольким десяткам мундиров. В соседней комнате длиннобородых и благочестивых ортодоксальных евреев заставляли делать какие-то бредовые упражнения: их мучителям это казалось очень смешно. Ханси запротестовала, но ее пригрозили убить, если она не замолчит и не продолжит работу. В конце концов ее отпустили. С тех пор она бродила по городу.

«Нужно уезжать», – сказала она.

Добыть билет было проще женатым. Мило и Мими решили оформить отношения.

«Давай поженимся», – попросила я Пепи.

Он ухмыльнулся и удивленно поднял брови. «Но ты же обещала отцу, что никогда не выйдешь замуж за христианина», – пошутил он. Пепи действительно был теперь христианином. Пытаясь защитить своего двадцатилетнего сына от действия Нюрнбергских законов, которые лишали евреев гражданства рейха, Анна отвела Пепи в церковь и окрестила. Затем она всеми правдами и неправдами добилась того, чтобы их фамилия исчезла из списков еврейской общины. Так что когда венских евреев стали пересчитывать – а полковник Эйхман пересчитывал нас регулярно, – Йозефа Розенфельда в список не внесли.

«Это тебе не поможет, – сказала я тогда. – Нюрн-

бергские законы имеют ретроактивное действие. Они применяются ко всем, кто был евреем до вступления законов в силу, а это было в 1936-м. Те, кто стал христианином в 1937-м, не считаются».

«Сделай мне одолжение, дорогая, – улыбнулся он. – Маме моей не говори. Она думает, что защитила меня от всех опасностей. Не хочу ее расстраивать».

Он поцеловал меня, и у меня закружилась голова. Предложение пожениться как-то сразу забылось.

Я ни за что не хотела, чтобы политические проблемы как-то помешали мне в учебе. Я успешно сдала оба государственных экзамена. Оставался последний, и я стала бы доктором юридических наук. А значит, я могла бы работать не только юристом, но и судьей. Мне казалось, что со степенью, с подтвержденной высокой квалификацией мне будет гораздо проще эмигрировать.

В апреле 1938-го я пошла в университет забрать документы и узнать дату последнего экзамена. Девушка из администрации – мы были знакомы – сообщила: «Вы не будете сдавать этот экзамен, Эдит. В университет можете больше не приходить». Мне отдали документы и выписку об академической успеваемости. «До свидания».

Почти пять лет я отдала изучению юриспруденции, конституций, правонарушений, психологии, экономи-

ки, политологии, истории, философии... Я писала работы, ходила на лекции, анализировала дела, трижды в неделю занималась с судьей, чтобы подготовиться к экзамену. А меня к нему просто не допустили.

У меня подкосились ноги. Я оперлась на ее стол.

«Но... но... это последний экзамен перед выпускком!»

Она отвернулась. Я чувствовала, как искренне она рада, что сумела разрушить мою жизнь. У этого чувства был запах, честное слово, был – оно пахло потом и животной страстью.

Помогая служанке выносить матрасы во двор, бабушка заработала грыжу. Ей понадобилась операция, и операции этой она не пережила.

Дедушка так в это до конца и не поверил. Он все время оглядывался, явно ожидая где-нибудь увидеть жену, а потом с тяжелым вздохом вспоминал, что ее нет.

Сразу после смерти бабушки в Эвиан-ле-Бене, шикарном спа-курорте во Французских Альпах неподалеку от Женевского озера, прошла конференция, на которой решалась судьба австрийских евреев. Эйхман отправил несколько представителей нашей общины, чтобы они обратились к правителям других стран с просьбой выкупить нас у нацистов. «Неуже-

ли вы не хотите спасти высокообразованных, культурных, веселых австрийских евреев? – вопрошали они. – Как насчет 400 долларов за человека? Дорого? Может быть, 200?»

За нас не дали ни цента.

Никто, даже США, не захотел нас выкупить. Диктатор Доминиканской Республики, Трухильо, пригласил несколько человек в свою крошечную, нищую страну, надеясь, что евреи принесут ей процветание. Я слышала, так и вышло.

9 ноября 1938 года мне не пришлось идти к Денне-рам, потому что Ханси получила билет для эмиграции в Палестину. Мы провожали ее на вокзал со смесью радости и сожаления. Нацисты разрешали каждому взять один чемодан и один рюкзак. Ханси уложила с собой хлеб, вареные яйца, пирог, сухое молоко, белье, носки, обувь, плотные брюки, толстые рубашки, одно платье и одну юбку. Женственность и ее атрибуты сильно потеряли в цене. Женственность, как цветы и фрукты, слишком быстро портится и стоит слишком дорого, а пользы от нее в такие времена, конечно, нет.

Мы с мамой и Мими плакали, но Ханси была спокойна. «Приезжайте, – сказала она нам. – Уезжайте из этой проклятой страны. Уезжайте при первой же возможности».

И вот ее увез поезд. Ханси, как и остальные беженцы, высунулась из окна, чтобы помахать нам на прощание. Она не улыбалась.

Чтобы заплатить невозможные деньги, которых нацисты требовали за билет, мама сняла со счета все, что там было. Мы с Мими хорошо знали, что на выкуп для нас денег нет. «Но у вас есть мужчины, – сказала мама, крепко нас обнимая. – Они вас спасут. Ханси была для этого слишком мала».

По пути домой мы услышали странный шум. На горизонте рдели отблески пламени. В городе что-то горело. На улицах никого не было. Мимо громыхали нацистские машины, полные счастливых молодых людей, а пешеходов не было. Ни одного.

В последние месяцы мы научились распознавать опасность издалека. Мы с Мими схватили маму за руки и побежали. Дома нас ждала чем-то очень обеспокоенная фрау Фалат, наша консьержка. «Они нападают на еврейские магазины, – сказала она. – Одна из синагог горит. Сегодня на улицу ни ногой».

Прибежал запыхавшийся Мило Гренцбауэр. «Простите за беспокойство, фрау Хан, – вежливо поздоровался он, – но мне необходимо сейчас остаться у вас. У моего брата есть друг в СС. Он сказал, что нацисты забирают молодых евреев и куда-то их увозят, не знаю куда, в Дахау, может, в Бухенвальд. Он сказал,

что нам с братом нельзя сегодня оставаться дома».

Он упал в одно из кожаных кресел. Мими, дрожа, сидела у него в ногах.

С улицы доносились крики, визг тормозов, звуки разбитого стекла. Около десяти к нам присоединился наш двоюродный брат Эрвин, студент-медик. Он пришел белый как мел и весь мокрый от пота. По пути из лаборатории он наткнулся на толпу у синагоги, развернулся и побежал к нам, как раз когда синагога загорелась. Он видел, как евреев избивают и куда-то увозят.

После него пришел Пепи. В доме было три молодых человека, но он один был спокоен, опрятен и невозмутим.

«Вот увидите, толпа скоро заскучает и разойдется, – сказал он. – Это вопрос времени. Завтра они будут мучиться похмельем, а мы увидим, сколько окон разбито. Они протрезвеют, мы поставим новые окна, и все будет как раньше».

Мы все в шоке смотрели на него. Он что, сошел с ума?

«А ты умеешь держать лицо, Пепи, – улыбнулась мама. – Из тебя выйдет великолепный юрист».

«Мне просто не нравится, когда моя девочка грустит, – сказал он и нежно разгладил мой лоб. – Эта морщина на ее милом лобике должна исчезнуть».

Он обхватил меня и утянул к себе, на диван. В эту секунду я восхищалась Пепи Розенфельдом. Мне казалось, что его добрый нрав и бесстрашие каким-то образом вытащат нас из этого ада.

И тут пришла его мать, Анна. «Ты что, идиот? – завизжала она. – Я половине города взятки даю, чтобы сделать тебя христианином, чтобы тебя убрали из списков общины! А ты что делаешь, когда евреев увозят, а их магазины сжигают? Притащился в их логово и сидишь тут с ними! Уходи от них! Это не твой народ! Ты христианин, католик, австриец! А они – чужие! Их все ненавидят! Ты у меня больше ни минуты с ними не проведешь!»

Она бешено уставилась на меня. «Отпусти его, Эдит! Если ты его любишь, отпусти! Если ты этого не сделаешь, они его у меня заберут и кинут в тюрьму, моего единственного мальчика, моего сына, мое сокровище...» Она стала всхлипывать.

Мама, всегда сочувствующая людям, предложила ей бренди.

«Так, мама, – сказал Пепи. – Пожалуйста, прекрати скандалить. Мы с Эдит скоро отсюда уедем. Мы собираемся уехать в Англию. Или в Палестину».

«Что? Вот что вы задумали, да? Бросить меня тут? Оставить меня, бедную вдову, совсем одну? Скоро начнется война!»

«Не надо тут про «бедную вдову», – оборвал ее Пепи. – Никакая ты не вдова. У тебя есть муж, Хофер. Он о тебе позаботится».

Анна не ожидала, что он вот так при всех раскроет ее тайну. Это окончательно ее разъярило. «Если ты меня бросишь, если убежишь со своей еврейской суккой, я покончу с собой!» – крикнула она и бросилась к окну. Она залезла на подоконник.

Пепи крепко схватил ее полное, тяжелое тело и, хлопывая мать по спине, стал повторять: «Тихо, тихо...», пытаясь ее успокоить.

«Пойдем домой! – ныла она. – Пойдем отсюда, от этих людей! Бросай эту девчонку, ты из-за нее погибнешь! Пойдем домой!»

Он посмотрел на меня из-за широкой спины матери, и в его глазах я наконец поняла, с чем он жил все это время, почему так и не согласился по-настоящему уехать. Я поняла, что Анна каждый день давила на него, кричала, плакала, угрожала самоубийством, что она схватила его и посадила на толстую железную цепь, которую она считала любовью.

«Иди, – тихо сказала я. – Иди домой. Иди».

Они ушли. А мы всю Хрустальную ночь сидели и слушали, как трескаются и ломаются наши жизни.

Моя сестра Мими вышла замуж за Мило Гренцбауэра в декабре 1938-го. Они нелегально уехали в Из-



раиль в феврале 1939-го. Чтобы купить им билеты, мама продала наши кожаные стулья. При желании мы могли бы собрать денег на билет и для меня, но, если честно, я неспособна была оставить Пепи.

События наваливались друг на друга с такой быстротой, что мы словно бежали от страшной лавины, и обваливались все новые и новые массивы. Через год после Аншлюса, в 1939-м, Чемберлен позволил Гитлеру взять Чехословакию. «Если гойим не защищают даже друг друга, – сказала тогда мама, – то как можно ждать, что они защитят нас?» Потом дедушку хватил удар. Дядя Рихард нашел для него сиделку, и мы старались приезжать к нему в Штокерау как можно чаще. Но вскоре нацисты арестовали и дядю Рихарда вместе с тетей Розы.

Они провели в тюрьме полтора месяца. Чтобы выйти на свободу, им пришлось отдать нацистам абсолютно все: недвижимое имущество, счета в банке, расписки, посуду, серебро. После этого они сразу уехали на Восток. Их поглотила Россия. Мама надеялась, что о них что-нибудь станет известно, но они точно пропали.

Как-то в нашу дверь постучал молодой человек в форме. Знаете, у нацистов был какой-то особый стук, такой, как будто они злились на дверь за то, что она не исчезает под их кулаками. Я всегда чувствовала, что это они стучат. У меня ползли мурашки по телу

и сжимался желудок. Нацист сказал маме, что дом и магазин дедушки забирают «хорошие» австрийцы, и он должен переехать к родственникам.

Все. Штокерау для нас кончилось.

Дедушка прожил в этом доме сорок пять лет. Посуда, стулья, картины, подушки, коврики, телефон, кастрюли, сковороды, ложки, фортепиано, восхитительные вязаные кружевные салфетки, мотоциклы «Пух», швейные машинки, старые письма, которые хранились в большом деревянном столе, сам этот стол – у дедушки украли все, все его воспоминания. Купили краденое его старые знакомые, соседи.

Мама отправила меня за ним ухаживать. Удар, случившийся после смерти бабушки, его ранил, но потеря родного дома его окончательно подкосила. Я водила его в туалет, массировала ему ноги. Все, что я готовила ему в соответствии с особой диетой, он принимал с благодарностью, а потом мягко, почти оправдываясь, говорил: «У бабушки лучше получалось».

«Да, я знаю».

«А где она?»

«Она умерла».

«Ах да, конечно, я знаю, знаю, – он опускал взгляд на свои старые, в шрамах и мозолях, руки. – А когда можно будет вернуться домой?»

Одним утром он умер.

Позже я еще видела его дом. Кажется, там все еще кто-то жил. Донауштрассе 12, Штокерау.

По сравнению с тем, как прошло выселение бабушки, наше было пустячным делом. Консьержка, рыдая, стояла в коридоре с уведомлением о выселении, подписанным нашим милейшим арендодателем. «Но что он мог поделать? – повторяла она. – Этого потребовал режим».

Итак, мы с мамой переехали в Леопольдштадт, венское гетто, в квартиру маминой овдовевшей тети фрау Маймон, на Унтере Донауштрассе 13. У нее уже проживали еще две дамы. Это были сестры, одна из них была не замужем, у второй же мужа забрали в Дахау. В квартире, рассчитанной на одного человека, жило пять женщин. Мы ни разу не ругались и постоянно извинялись, если невозможно было не влезать в чужое личное пространство.

Мы с мамой зарабатывали шитьем. Конечно, это была не работа модельера – мы чинили старую одежду и перешивали ее под новые времена. Очень многое приходилось ушивать: евреи в венском гетто постепенно худели.

А вот Юльчи, моя двоюродная сестра, становилась только толще.

Она, вся красная, сидела со мной в парке и плака-

ла.

«Я знаю, что в такое ужасное время беременеть было нельзя, – рыдала она. – Но Отто призвали, и мы боялись, что больше никогда не увидимся, мы просто себя не помнили. Это как-то случилось, а теперь я не знаю, что делать. Может быть, ребенку ничего не угрожает. Как ты думаешь, Эдит? Ну, наверное, как-то же должны учитывать тот факт, что отец у него не еврей, что он солдат рейха».

«Да, наверное», – сказала я, не слишком в это веря.

«Я подавала на работу горничной в Англии. Надеялась, они просто решат, что я толстая. Но они сразу поняли, что я беременна, – она посмотрела на меня очень прямо. – Мне нельзя быть беременной, Эдит. Отто идет на войну, принимают все новые законы против евреев... Мне нужен врач».

Я связалась с нашим старым другом Коном. Только он закончил институт и открыл свою практику, как нацисты отозвали его лицензию. Вид у него был страшный.

«Слышала об Эльфи Вестермайер? – горько спросил он. – Она ведь даже не доучилась, но всюю принимает больных. Похоже, в этой стране, чтобы работать врачом, достаточно членства в нацистской партии».

Они с Юльчи договорились о приеме, но делать

аборт Кон в конце концов отказался. «Я не могу гарантировать безопасность, – объяснил он. – У меня нет операционной, мы не в больнице, даже препаратов нужных нет. Если, не дай Боже, будет инфекция... Последствия могут быть ужасные». Он взял ее за руку: «Иди домой. Рожай ребенка. Он будет тебе поддержкой и опорой».

Итак, Юльчи вернулась домой, к мужу. Он уже собирал вещи: ему предстояло завоевывать Польшу. Он ее поцеловал, пообещал вернуться и ушел, а она стала ждать ребенка в одиночестве.

Мы с мамой с невероятной скоростью скатывались в полную нищету. Клиенты платили нам по несколько *groschen* (которые немцы пересчитали в пфенниги), достойный заработок был нам не доступен. Нам пришлось платить по счетам вещами.

Маму очень мучил один разрушенный зуб. У нашего обычного дантиста, еврея, давно отобрали лицензию, но Пепи нашел арийского врача, готового провести удаление. В обмен на это он хотел золото. Мама отдала ему золотую цепочку. Этого ему было мало. Она отдала вторую. Этого тоже не хватило. Мама отдала последнюю. Один зуб стоил ей трех золотых цепочек.

Я попробовала собрать платежи за швейные машинки и мотоциклы, которые дедушка отдал в аренду.

Но евреям долги никто уже не возвращал. Надо мной только смеялись.

Младшая сестра мамы, тетя Марианн, вышла замуж за человека по имени Адольф Робичек и переехала к нему в Белград. Он работал в судовладельческой компании, которая регулярно отправляла по Дунаю корабли. Робичеки передавали нам через капитанов еду, которой мы непременно делились с фрау Маймон и обеими сестрами.

От этих пакетов с едой зависела наша жизнь.

Знали ли остальные австрийцы, что происходило с евреями? Понимали ли, что нас лишают всего, что мы начинаем голодать? В качестве ответа расскажу один случай.

Как-то раз, уже после Аншлюса, я переходила улицу в неполюженном месте, и меня остановил полицейский. Он сказал, что я должна заплатить большой штраф. «Но я еврейка», – сказала я. Услышав это, он сразу понял, что у меня нет ни гроша, и заплатить я ничего не смогу. Меня отпустили.

Так что, когда вы слышите, что никто не знал о том, как с нами обходятся, не верьте ни единому слову. Об этом знали все.

В личной жизни Кристль Деннер всегда было мно-

го неразберихи, а нацисты только добавили ей новых проблем.

Мы сидели в ванной комнате, потому что в других частях дома было очень холодно из-за громадных окон.

«Слушай, Эдит, это все такой бред, что только СС и могли до такого додуматься. По Нюрнбергским расовым законам ты не можешь считаться арийцем, если нет доказательств, что все твои дедушки и бабушки тоже были арийцами, так? То есть если хоть один твой дедушка – еврей, ты будешь считаться евреем, и тебя лишат гражданства, да? Ну так вот. У Берчи отец – еврей из Чехословакии».

«Господи», – в ужасе отозвалась я.

«Поэтому, – продолжала она, – мой папа помог отцу Берчи достать поддельные документы, доказывающие, что все его предки на три поколения назад были арийцами. Хорошая мысль, да?»

«Замечательная», – согласилась я.

«В результате отца Берчи забрали в армию».

«Боже мой!»

«В армии быстро узнали, кто на самом деле такой дядя Беран, и отправили его в тюрьму. Параллельно Берчи тоже призвали, потому что поддельные документы отца делали арийцем и его. Очень скоро стало известно, что отец Берчи в тюрьме, но почему,

все еще никто не знал. В общем, Берчи отправили в увольнение с лишением прав и привилегий, он снова вернулся в Вену. И ты просто не поверишь, Эдит...»

«Что? Что такое?»

«Пока Берчи возвращался в Вену, весь его полк подорвался на бомбе Французского сопротивления».

Мне было жаль полк, но я была страшно рада за Берчи и просто в восторге от того факта, что Французское сопротивление существовало.

«Они наконец узнали, что Берчи – наполовину еврей. Теперь его ищет гестапо».

«О нет...»

«Я все продумала. Мама купила мне магазин, раньше принадлежавший еврею. Буду продавать сувениры: кофейные чашки с видом на Собор Святого Стефана, копии статуэток из Нимфенбурга, музыкальные шкатулки с музыкой Вагнера. Мне, конечно, понадобится бухгалтер. В общем, я наняла Берчи».

Она улыбнулась. Песик восхищенно смотрел на хозяйку, положив голову ей на колени.

«Но, Кристль, это очень опасно. Они придут за тобой...»

«Уже приходили, – сказала она. – Завтра я обязана явиться на Принц-Ойгенштрассе».

«Не ходи туда! – воскликнула я, – Ты арийка, ты можешь уехать, у тебя есть документы, уезжай, уезжай»



из рейха!»

«Папу отправили работать в противовоздушную оборону. Он в Вестфалии, в Мюнстере, – объяснила она. – Я никуда не поеду».

Я вспомнила Ханси, СС, то, как жестоки они к женщинам.

Кристль только улыбалась. «Просто одолжи мне желтую блузку с нашитыми птичками, и все будет в полном порядке».

На следующий день Кристль Деннер надела сшитую моей мамой блузку. Сидела она идеально. Кристль нанесла самую яркую свою помаду и подкрасила ресницы. Можно было подумать, что она идет на танцы: так развевалась ее юбка, так блестели ее волосы.

Она вошла в главный штаб гестапо. Мужчины все до единого вытянули шеи, чтобы получше ее рассмотреть. Капитан попытался проявить строгость:

«Фройляйн Деннер, на вас работает некий Ганс Беран...»

«Совершенно верно, это мой бухгалтер. Он сейчас находится в поездке по рейху. На днях прислал открытку».

«Когда он вернется, пусть придет сюда».

«Разумеется, капитан. Я ему передам».

Кристль мило улыбнулась. Капитан поцеловал ей руку и спросил, не желает ли она выпить с ним чашечку кофе. Она согласилась.

«Что?! Ты пошла на свидание с ээсовцем?!»

«Как я могла отклонить приглашение на кофе? – объяснила она. – Это было бы невежливо. Они могли что-нибудь заподозрить. Когда капитан предложил встретиться еще раз, я просто сказала, что помолвлена с храбрым моряком и не могу предать его доверие».

Отдавая мне блузку, Кристль широко улыбалась. Было в ней что-то от голливудской актрисы.

В подвале ее магазина сидел счастливейший из смертных, Берчи Беран.

Пепи заходил каждый день. Он работал стенографистом в суде, а после работы заходил куда-нибудь перекусить и шел к нам. Идти ему было сорок пять минут. Обычно он появлялся в семь, клал на стол часы, чтобы не пропустить время, и уходил ровно в девять пятнадцать, чтобы прийти в десять: именно в десять его ждала дома истеричная мать.

Для нашей долгой, трудной любви нигде не было места, и нам друг друга сильно не хватало. Даже в самую холодную погоду мы выходили на улицу и горячо целовались где-нибудь на лавочке.

Как-то вечером мы тихо, как мыши, боясь, что нас заметят соседи, пробрались в его квартиру. Пепи купил презервативы и спрятал их от Анны (она всегда и всюду совала свой нос) в коробке с надписью «НЕПРОЯВЛЕННАЯ ПЛЕНКА! ДЕРЖАТЬ В ТЕМНОТЕ!». Мы были страшно возбуждены и мечтали поскорее заняться друг другом. Только мы начали раздеваться, как в парадной раздались крики. Нацисты стучали в дверь какого-то несчастного австрийца, его жена повторяла: «Нет! Нет! Не забирайте его! Он ни в чем не виноват!». Чуть позже мы услышали тяжелые шаги нацистов. Они утащили узника с собой.

Нашу страсть убил страх. Возродить ее нам больше не удалось. Пепи проводил меня назад в гетто.

С работы его так и не уволили. Однажды он просто перестал туда приходить, и коллеги решили, что он или уехал, или под арестом, как и другие евреи, наполовину евреи и на четверть евреи. Получать еврейский рацион Пепи не мог, ведь благодаря стараниям матери евреем он больше не числился. Если бы он попробовал получать арийский рацион, его бы призывали в армию.

Получилось, что Пепи все время был заперт в маминой квартире. Питался он тем, что приносила мать. Она клялась и божилась, что страшно много курит, и ей выдавали сигареты, которые она отдавала сыну.

Днем он ходил в парк, выбирая места, где его не должны были заметить. Чтобы занять время, Пепи писал законы для новой «демократической» Австрии, которая, как он думал, должна родиться после уничтожения нацистов. Представляете? Пепи, мой гений, притворялся, что его не существует, а для развлечения составлял для Австрии новый Уголовный кодекс.

В 1939-м Германия напала на Польшу, и в войну вступили Франция и Англия. На короткий миг у нас появилась надежда, что Гитлер скоро будет повержен, что, возможно, мы не зря решили остаться в Вене. Однако мы быстро поняли, что развернувшаяся война окончательно отрезала для нас все пути отступления.

Для старых и больных людей надежды не существовало вовсе. Пожилая вдова знаменитого еврейского художника Макса Либермана покончила с собой, когда за ней пришли из гестапо. Дядя моей мамы, Игнац Хофман, выдающийся врач, женился на молодой женщине и прожил с ней несколько счастливых лет. Зная, что рано или поздно за ним придут, он принял яд. «А ты, моя любовь, беги, – сказал он жене. – Беги, спасайся. Не хочу, чтобы тебя отягощал старик». Он умер у нее на руках.

Мы даже слышали, что какая-то загадочная нацистка помогла жене дяди Игнаца не только уехать, но и вывезти имущество.

Все евреи польского происхождения должны были вернуться на родину предков. Две тихие, милые сестры, наши соседки, поцеловали нас на прощание и уехали. Мы собрали им посылку и отправили по адресу еврейской общины в Варшаве, но ее, естественно, вернули: отправка почтовых отправлений евреям была запрещена. По совету одного нашего хитрого знакомого мы написали адрес по-польски, и посылка дошла. Я тоже стала хитрой. Я каждый раз ходила в новое почтовое отделение.

Постепенно мы теряли связь с родственниками и друзьями. Они уплывали от нас, словно звезды в невесомости, уплывали в любую дырочку, открывшуюся в сплошной стене развернувшейся войны.

Тетя Марианн Робичек написала, что они с семьей едут на запад, в Италию. Дядя Рихард и тетя Роза прислали открытку из Китая. Ханси, Мило и Мими передали через других родственников, что добрались до Палестины. Мой двоюродный брат Макс Штернбах, одаренный художник из школы, так и не принявшей Гитлера, уехал куда-то через Альпы. Мы надеялись, что в Швейцарию.

На день рождения Пепи я подарила ему фотокарточку, ради которой специально одолжила у Кристль лиловую блузку. У меня было ощущение, что, если нас разлучат, нам понадобятся фотографии друг дру-

га. Пепи, конечно, говорил, что нас никто не разлучит, но разлучили так многих – например, Отто Ондрей все еще был на Восточном фронте. Он до сих пор не видел сына, которого Юльчи назвала в его честь.

Я изо всех сил надеялась, что Германия будет побеждена. Мне все казалось, что если Франция будет держаться... если Италия будет на стороне Англии... если в войну вступит Америка, нацистам придет конец.

В июне 1940 года, гуляя с Пепи у Дунайского канала, я услышала чей-то радостный возглас: «Франция пала!». Город взорвался восторгом... Меня стошнило прямо на улице. Я не могла дышать, не могла идти. Пепи чуть ли не на себе принес меня домой. Его мать принимала какие-то успокоительные таблетки. Теперь они понадобились мне. Пепи украл несколько штук и проследил, чтобы я их все проглотила.

Когда Италия объявила войну Франции и Англии – явный знак, что Муссолини рассчитывал на победу Гитлера, – я стала принимать таблетки добровольно: мне казалось, что все потеряно. Что мы в ловушке, в самом сердце нацистской империи, и выхода нет.

Пепи не отчаивался. Его обычная пунктуальность успокаивала и нас. Гостинцы с арийской стороны – кофе, сыр, книги – напоминали об ушедших радостных днях. Однажды он надавил на мать, заставил ее дать

ему денег, и увез меня в Вахау. Это была поездка, полная самозабвенной романтики.

Мы провели в стране чудес три незабываемых дня. Мы плавали по лазурной реке и поднимались к руинам замка Дюренштейн, где держали в заточении Ричарда Львиное Сердце и где трувер Блондель пел о его доблестном побеге. Заперевшись в номере, мы падали на кровать и бросались в объятия друг друга. Все спрашивали, почему я вышла замуж за мужчину настолько старше себя: Пепи казался старше своего возраста, а я – заметно младше. «Потому что это лучший в мире любовник!» – отвечала я.

Нацисты исчезли, словно злые карлики, изгнанные заклинанием. Мы гуляли по очаровательным тропинкам, по «заколдованным садам Австрии», где бродил до нас Бертран Рассел, и радовались нашему счастью. Политика, бедность, страх и паника растворились в разреженном горном воздухе.

«Ты мой ангел, – шептал он. – Ты мой волшебный мышонок, моя любимая девочка...»

Видите ли, я ведь только поэтому и осталась тогда в Австрии. Я была влюблена, я и представить себе не могла жизнь без моего Пепи.

Когда Вену так или иначе покинули 100 000 из 185 000 евреев, нацисты решили, что всех оставшихся необходимо зарегистрировать. Нас под дулом писто-

лета согнали на площадь. Люди с фамилией на Ф должны были прийти в один день, на Г – в другой, а все, у кого фамилия начиналась на Х – 24 апреля 1941 года. Мы с мамой стояли в очереди с раннего утра. Когда кто-то падал в обморок, мы помогали этим людям подняться и уводили их с солнцепека. Мимо не спеша громыхал грузовик с членами Гестапо. Один из них прыгнул на землю и выдернул нас с мамой из ряда.

«В машину», – приказал он.

«Что? Зачем?»

«Хватит тупых вопросов, еврейская сука, в машину!»

Нас запихнули в грузовик. Я крепко сжимала мамину руку. Нас отвезли в отдел СС и выдали каждой по листу бумаги.

«Вы нужны рейху для сельскохозяйственных работ. Вот. Подписывайте. Это договор».

В ту же секунду я вспомнила все долгие часы учебы на юриста. Я превратилась в адвоката. Я спорила так, словно мне предстояло стать прародительницей искусства споров.

«Почему здесь находится эта женщина? – спросила я, указывая на маму. – Она не из Вены, она не еврейка, она просто старая служанка, которая раньше у нас работала. Приехала нас навестить и пошла со



мною за компанию».

«Подписывайте».

«Да вы на нее посмотрите! Вы серьезно думаете, что она способна хорошо работать? У нее точные шпоры и артрит тазобедренных суставов. У нее большие ортопедические проблемы, можете мне поверить. Если вам нужны работницы, найдите лучше моих сестер. Моя сестра Гретхен очень красивая, спортивная, и ей всего двадцать два. Не будь она еврейкой, ее бы взяли в олимпийскую сборную по плаванию. А моя сестра Эрика сильная, как лошадь. Ее хоть в плуг запрягай, честное слово. Они обе там, в очереди, вы их пропустили. Как это вы так пропустили двух молодых, крепких девушек, а эту развалину взяли? У вас со зрением проблемы? Может, вам к офтальмо...»

«Ладно, ладно, заткнись! — заорали нацисты. — Пусть идет. Давай, мать, вали отсюда!» И маму вытолкнули на залитую солнцем улицу.

Я подписала договор. Он обязывал меня шесть недель участвовать в сельскохозяйственных работах на севере Германии. В случае же, если завтра я не явлюсь на вокзал, меня будут разыскивать как преступницу.

Той ночью мы с мамой спали, не выпуская друг друга из объятий.

«Шесть недель, – сказала я ей, – и все. Шесть недель, и я снова буду дома. К тому времени Америка вступит в войну, Гитлер будет повержен, все будет кончено».

Как и Ханси, я взяла с собой рюкзак и один чемодан. Мама уложила мне с собой почти всю остававшуюся в доме еду.

Пепи пришел на вокзал вместе со своей матерью. Он казался таким печальным. Обычное жизнелюбие совсем его оставило. Он взял меня за руки и убрал их к себе в карманы. У мамы под глазами залегли темные круги. Мы трое хранили молчание, но Анна Хофер не замолкала ни на секунду. Она, радуясь моему отъезду, щебетала что-то о новых фасонах и пайках.

Неожиданно мама обхватила Анну за плечи и резко, пока она не успела запротестовать, развернула ее от нас с Пепи. От его поцелуя на губах остались соленые слезы. Как часто этот вкус приходил ко мне во сне!..

# Остербургская плантация спаржи

Сначала эта поездка казалась вполне обычной. В моем купе было несколько женщин, и к моменту, когда мы прибыли в Мельк, я уже знала, как долго каждая из них мучилась в родах. Ко мне липла испуганная девочка. Я с трудом от нее избавилась. За нами приглядывала смотрительница, суетливая немка. В нацистской форме она казалась внушительной, но ночами она растерянно бродила по вагону в пижаме, не зная, что с нами делать.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.